

Агахан Дурдыев

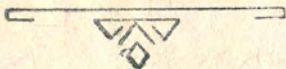
В А У Л Е
Г Е О К Ч А





Агахан Дурдыев

В АУЛЕ ГЕОКЧА



37627

Туркменское
Государственное издательство
Ашхабад — 1953

***Перевод с туркменского
Т. Озерской и П. Карпова.
Вступительная статья
Е. Суркова***



ДАРОВИТЫЙ БЫТОПИСАТЕЛЬ ТУРКМЕНСКОГО СЕЛА

Даровитый туркменский беллетрист и журналист Агахан Дурдыев, чьи избранные рассказы впервые, благодаря этому изданию, становятся доступными русскому читателю, принадлежит к старейшему поколению туркменских советских писателей. Выступив с первыми стихами через 2—3 года после поэтов Берды Кербабоева, Караджи Бурунова и Якуба Насырли, справедливо пользующихся репутацией зачинателей советской туркменской литературы, Агахан Дурдыев недолго работал в области поэзии. Скоро его сферой становится короткий рассказ. Именно в этом жанре ему удалось сказать то свое слово, которое обеспечило ему заметное место в истории туркменской прозы.

Туркменская художественная проза — детище Великой Октябрьской социалистической революции. Создав в прошлом немало бытовых и сатирических рассказов, присказок и анекдотов, до сих пор изустно распространяемых в народе, туркмены только лишь после установления Советской власти смогли положить начало развитию основных жанров национальной прозы. Берды Кербабоев, Нурмурат Сарыханов, Ата Коушутев, Агахан Дурдыев — это первые прозаики туркменской литературы. Им пришлось поставить первые вехи на пути развития туркменского рассказа, туркменской повести, туркменского романа. Их труды, как и творчество многочисленного отряда поэтов, способствовали становлению туркменского литературного языка, его обогащению.

Выполнить эту работу туркменские писатели смогли только потому, что, сохраняя преемственную связь с народным творчеством и с произведениями таких выдающихся поэтов прошлого, как Махтумкули и Кеминэ, они в то же время последовательно и сознательно опирались во всех своих новаторских поисках на богатейший опыт русской классической и современной советской литературы. В творческом опыте своих русских братьев находили они решение важнейших идейных и художественных проблем, выдвигаемых перед ними жизнью своего народа и всей социалистической державы в целом.

Так опыт мастеров русского советского романа о судьбах народа в революции, — опыт А. Толстого, М. Шолохова, А. Фадеева («Последний из Удэге»), — помог Берды Кербабаяеву творчески обобщить в романе «Решающий шаг» сложнейшие процессы исторического развития туркменского народа в период подготовки и победоносного осуществления пролетарской революции. Так неустанно учился у русских классиков и современных русских писателей Нурмурат Сарыханов, особенно много почерпнувший для своих лаконических, идейно-насыщенных, пронизанных чувством современности новелл у великого Чехова. С тщательного изучения русской прозы начал и Ходжи Исмаилов; прежде чем выступить с собственными патриотическими повестями — «Упрямец» и «Соперники», пользующимися ныне широкой известностью у туркменского читателя, Исмаилов много и успешно переводил на свой родной язык Пушкина, Тургенева, Горького и из современников — Павлинко и Фадеева.

В ряду этих писателей Агахану Дурдыеву принадлежит особое и вполне самостоятельное место. Испытав в своем развитии воздействие тех же исторических сил, которые формировали его сверстников и товарищей по перу, так же, как и они, обильно зачерпнув из неиссякаемой сокровищницы русской литературы, — Дурдыев на протяжении всего своего, сравнительно короткого, писательского пути сохранил своеобразие творческой индивидуальности.

В то время, как важнейшим достижением многообразной литературной деятельности Берды Кербабаяева явилось создание первого в истории туркменской литературы исторического романа; в то время, как задачей Ата Коушутова в романе «У подножья Копет-Дага» было создание широкой картины национального быта преобразованного в результате социалистических изменений, происшедших за последние годы в туркменском селе, а перед Нуриура-

том Сарыхановым и Ходжи Исмаиловым, наиболее последовательно стремившимися воплотить новые черты, которыми обогатился туркменский национальный характер за годы социалистического строительства, встала проблема разработки новаторских в условиях туркменской литературы жанров социально-психологической новеллы (Сарыханов) и лирической повести (Исмаилов), — Агахан Дурдыев особенно много сделал для развития короткого бытового рассказа, публицистически целеустремленного и чаще всего юмористически окрашенного.

Тесно связанный с жизнью туркменского села эпохи великих социалистических преобразований, Дурдыев касался в своих непринужденно и весело написанных рассказах как раз тех бытовых вопросов, которые повседневно выдвигались борьбой нового и старого, развертывавшейся в те годы не только в сельскохозяйственной экономике, но и в сознании широких масс дайхан.

Писатель не искал каких-либо исключительных конфликтов, не заботился о сочинении необычайных сюжетных хитросплетений, а, наоборот, стремился к сюжетам наиболее простым и жизненным, выдвигая перед своими читателями именно те проблемы, которые каждодневно возникали перед ними в самой действительности. Его рассказы, простые по манере изложения и несложные по тематике, повествовали о том, что всем было понятно и близко: о переселении крестьянской семьи из кибитки в новый дом («Велюр побежден»), о борьбе пионеров с некогда всесильными табибами и ишанами («Сигнал»), о перевоспитании лентяев и тунеядцев («Хан-лежебока»), о стремлении передовых колхозниц к знаниям и фактическому равноправию («Ссора»). И все эти буднично-заурядные и, в самой своей заурядности, типичные сюжеты потому-то и волновали читателей, что за ними проступали контуры несравненно более широких и общественно важных процессов. Увидеть в малом большое, суметь проследить в частном и иной раз на первый взгляд незначительном бытовом эпизоде отражение тех глубочайших сдвигов, которые происходили тогда в жизни всего народа, — в этом состояла основная творческая задача Дурдыева. И хотя он далеко не всегда успешно решал ее, подчас впадая в мелочную бытовщину и примитивный дидактизм, все же лучшие его рассказы несут на себе драгоценную печать времени, их породившего, и потому вправе рассчитывать на внимание современного читателя. Пусть в предварительном и беглом очерке, но в этих рассказах все же запечатлелись некоторые характерные черты тех кипучих и стремительных дней,

когда веками складывавшийся туркменский бытовой уклад рухнул под натиском новых общественных, экономических и культурных сил, и социалистическая новь бурно двинулась в наступление на все отжившее и косное.

Сам Дурдыев был не только правдивым литературным свидетелем этой борьбы, но и ее непосредственным участником. Его писательская биография была органически связана с его личной биографией. Дурдыев сам был одним из тех новых людей туркменского сея, которых создала советская общественная система и о которых повествуют его рассказы. И в этом смысле его биография была типичной для миллионов таких же, как и он, представителей угнетенных царизмом и своей байско-феодалной верхушкой народов, прошедших за годы революции и социалистического строительства путь из тьмы и отсталости к свету и культуре, из царства произвола и насилия в царство свободы и творческих дерзаний. Он был неграмотен и стал писателем, был бесправным и забитым батраком и стал признанным выразителем чаяний и дум своего народа, равноправным членом многонациональной семьи советских литераторов.

Так же, как и старая Биби-Гозель — героиня его «Рассказа старухи», Агахан Дурдыев по личному опыту знал, что такое байская эксплуатация и религиозный деспотизм муллы и ишана. Мрачные образы Аллаберды и Керим-баев, вышедшие из-под его пера, не были для него только литературными образами, — за ними стояли десятки и сотни таких же безжалостных и наглых насильников, с которыми не раз на протяжении первой половины его жизни сталкивала Агахана Дурдыева судьба. В эти-то беспросветные годы он и научился ненавидеть все, связанное со старым миром, все, что от века несло несчастье и беды трудовому дайханину.

Агахан Дурдыев родился в 1904 году в ауле Баба-Дайхан № 2 Тедженского района. Родители Агахана умерли, когда будущему писателю было всего два года. В детстве он был на попечении старших братьев и сестер, а его ранняя юность прошла в безводных, выжженных солнцем степях, куда он на долгие месяцы уходил в качестве подручного чабана с отарами овед.

В рассказе «Депутат» (в русском переводе называется «Ссора») Дурдыев нарисовал образ упорно не желающего учиться дайханина Гельды. В ответ на настойчивые уговоры поступить в колхозную школу для взрослых Гельды, наконец, раскрывает тайну своего непреодолимого предубеждения против учебы: оказывается, в отро-

честве он уже учился в религиозной мусульманской школе—мектебе, но ничему не выучился там. «Учился я, учился, — рассказывает Гельды, — дошел до таберека. Таберек меньше середины эптега. Первый год учил буквы, дошел до эбджета. Второй год начал с кулау-вы — дошел до начала эптега. На третий год дошел до таберека».

Есть все основания предполагать, что этот рассказ не лишен автобиографической основы. Точно такой же тарабарщиной, в пере-межку с не по возрасту изнуряющим трудом, были заполнены детские годы самого Дурдыева. Он также учился в мектебе и так же, как и его герой, вышел оттуда (как он сам потом признавался), не научившись «ни читать, ни писать».

Впервые овладеть грамотой Дурдыеву удалось только в 17 лет: в 1921 году он попал в аульный ликбез, откуда в 1922 году поступил в Туркменский педагогический институт, только что открывшийся тогда одним из старейших городов Туркмении — в Мерве (Мары).

Всею своей предыдущей жизнью, исполненной безрадостных трудов и нечеловеческих лишений, Агахан Дурдыев был подготовлен к тому, чтобы воспринять задачи социалистической революции как свои собственные. Поднятый большевистской партией до осознания своих классовых целей и задач, Дурдыев поэтому быстро нашел свое место в ряду борцов за счастье народа и не покинул его вплоть до самой своей смерти.

В 1927 году Дурдыев кончил Среднеазиатский коммунистический университет в Ташкенте, и в этом же году в туркменской печати появились первые его стихи. С этих пор Дурдыев постоянно печатался в основных журналах и газетах республики — в «Совет Эдебияты», «Совет Туркменистаны», в юмористическом журнале «Токмак» («Колотушка») и др. Им были опубликованы поэма «Борьба за хлопок» (1934), повесть «Счастливый юноша» (1939, в русском переводе — «Счастливые»), пьесы «Зачет», «Деньги», «Свет», «Гозель», ряд рассказов (первый прозаический сборник Дурдыева «Волна ударничества» был издан в 1933 г.).

Умер Агахан Дурдыев в 1947 году. В последние годы перед смертью он писал все меньше и меньше: мешала тяжелая болезнь. Его значение, как писателя, таким образом, полностью определилось в тридцатые годы. В эти годы им были опубликованы почти все основные произведения, составляющие главный актив в его литературном наследии. С тридцатыми же годами его творчество неразрывно связано и по самой своей идейной сути.

Товарищ Сталин писал в своем известном приветствии участникам конного пробега Ашхабад — Москва:

«Только ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия, — могли обеспечить такую славную победу.

Партия коммунистов может поздравить себя, так как именно эти качества культивирует она среди трудящихся всех национальностей нашей необъятной родины».

Замечательные эти мысли имеют огромное значение для понимания и оценки тех глубочайших изменений, которые произошли в туркменском народе, так же как и во всех других народах, составляющих нерушимое содружество социалистических наций, за годы победоносного строительства коммунизма. Партия Ленина — Сталина важгла перед советскими народами вдохновляющую цель — коммунизм и указала прямой и точный путь к достижению этой великой цели. В борьбе за достижение этой цели и развернулись могучие творческие силы советских народов, окрепла и закалилась их нерушимая воля к победе.

Идя рука об-руку с другими советскими народами по пути, указанному партией, трудящиеся Туркмении неузнаваемо преобразили свою родную землю. В процессе социалистического переустройства народного хозяйства перековывалось и сознание людей.

Устремленные к цели, указанной партией, проникнутые духом советского патриотизма и дружбы народов СССР, трудящиеся Туркмении воспитали в себе то мужество и твердость характера, ту нестигаемую волю к преодолению всех и всяческих трудностей, которые, как показала Великая Отечественная война и выдающиеся успехи мирного строительства, являются залогом грядущей победы коммунизма в нашей стране.

Исключительно важная и ответственная роль в деле воспитания этих драгоценных качеств в туркменском народе принадлежит туркменской советской литературе. Она вела и ведет неутомимую борьбу со всеми отжившими и косными идейными представлениями, беспощадно разоблачая предательскую сущность буржуазного национализма и пантюркизма. Высоко подняв знамя ленинско-сталинской дружбы народов, она выдвинула перед своими читателями новый идеал человека — труженика и борца за счастье народа, воплотив этот идеал в правдивых и национально-своеобразных образах, понятных и близких сердцу каждого туркмена.

Вклад, который внес Агахан Дурдыев в развитие родной литературы, полностью определялся этой ее генеральной социально-воспитательной задачей.

Выступив со своими первыми рассказами в годы великого перелома, когда борьба с пережитками прошлого в сознании туркменских дайхан получила особый размах в связи с первыми успехами колхозного строя, Дурдыев чутко подмечал ростки нового в колхозной повседневности и одновременно неумолимо, с тонким пониманием особенностей национального быта, подвергал осмеянию все то, что принадлежало цепляющейся старине и чему не должно быть места в новых общественных условиях.

Лучшие его рассказы построены на остром столкновении нового и старого, живого и омертвелого, прогрессивного и реакционного в тогдашнем крестьянском быту. Верный своему стремлению раскрывать общие процессы через частное, Дурдыев прослеживал борьбу этих противоречивых начал в наиболее жизненно типичных и привычных для каждого дайханина бытовых формах. И при этом не скрывал, а, наоборот, всемерно подчеркивал вытекавшую из рассказанных им жизненных эпизодов социально-нравоучительную идею. Его рассказы были намеренно дидактичны. В них писатель как бы вел со своими читателями единую, все вновь и вновь возобновлявшуюся беседу о том, что было для этих читателей насущно важным и жизненно близким. Все новыми и новыми случаями, словно бы непосредственно выхваченными из самой жизни, он иллюстрировал свою основную мысль о необходимости решительного отказа от всех старых бытовых установлений и обычаев, противоречащих интересам нового советского общества. Эту мысль Дурдыев утверждал и позитивно, рисуя привлекательные черты новых людей, с каждым годом все более и более активно заявлявших о себе во всех сферах народной жизни, и негативно, метко и зло издеваясь над теми, кто еще продолжал по привычке и вопреки требованиям быстро развивающейся жизни кутаться в лохмотья старых, изношенных адатов и религиозных догм.

Насмешливая язвительность безвестных создателей популярных в туркменском народе притч о верном друге бедноты Кемине была особенно сродни писательскому таланту Дурдыева. Он учился у безымянных проницательных и неистощимо жизнерадостных народных сказочников и мудрецов умению говорить о серьезных и важных вопросах с простодушной веселостью и лукавством, учился у них народной простоте и задушевности.

Органическая внутренняя связь объединяла писателя с его героями. В своих рассказах он умел бескомпромиссно требовательно осудить ошибки и заблуждения тех из них, кто по неразумению или темноте еще шел по старому пути, сохраняя в то же время дружескую сердечную заинтересованность в их судьбе.

Так рассказывал он и об ошибках незадачливого Гельды, оставшего от своей жены («Ссора»), и о «патриархальной» лени и неповоротливости аульного «зуветдина» Аннакули («Счастливые»), и о донжуанских претензиях «почтенного» Баллы-мулла («Кузнец-святоша»). Рассказывал с ядовитой иронией, беспощадно и метко подмечая самые смешные стороны в своих персонажах, но всегда только для того, чтобы в конце концов открыть перед ними перспективу исправления и роста. В рассказах Дурдыева новое всегда торжествует над старым, и даже там, где по началу нам виделась одна косность и отсталость, в финале неизбежно наступает перелом.

В том, чтобы выявить неизбежность этого перелома, и состояла одна из самых важных задач писателя. Он писал о старом всегда только для того, чтобы подчеркнуть его бессилие сопротивляться новому, и если, к примеру, в одной из бытовых новелл писателя («Счастливая девушка Багдада») мы и сталкиваемся с настойчивыми попытками одной старой четы — людей неплохих, но находящихся в плену стародавних обычаев, — выдать свою дочь замуж так, как велит адат, не считаясь с ее волей, то очень скоро нам становится ясным, что главной силой в этом бытовом столкновении являются все же уже не старики, а их дочь, отнюдь не собирающаяся поступиться своим человеческими правами ради соблюдения каких-то окостеневших традиций. И так повсюду: новый свет зажигается и перед темной Солтан-эдже, вырывающейся из-под гипноза табибов и ишанов («Сигнал»), и перед Ханом-лежебокой, принимающимся под воздействием колхозного коллектива за труд, и перед упрямым Гельды, в конце концов все же осознающим свою вину перед женой.

И хотя Дурдыев сосредотачивал свое внимание прежде всего на целеустремленном решении тех бытовых проблем, которые лежали в основе его рассказов, все же в своей сококупности эти рассказы дают современному читателю больше чем просто сумму бытовых наблюдений и зарисовок. В этих рассказах чувствуется сложнейший процесс воспитания нового человека, — процесс, обусловленный все более и более глубоким проникновением социализма в жизнь

туркменского народа и направляемый воспитательной работой коммунистической партии.

Наибольший интерес в этом смысле представляет повесть «Счастливые». Это единственный случай в творчестве Дурдыева, когда он вышел за пределы бытовой проблематики и, сохранив всю обычную бытовую колоритность своего письма, поставил перед собой интересную и трудную психологическую задачу.

Разумеется, и в этой повести лучше всего удалась Дурдыеву жанровые эпизоды: бытовые краски в «Счастливых» яркие и разнообразны, как и в других его вещах. Несравненно слабее справился он с раскрытием внутреннего мира Аннакули: путь юноши от «звездина» — «растяпы», осмеянного всем селом, до смелого и уважаемого джигита, намечен в повести, но не прослежен достаточно последовательно и глубоко. Самый процесс освобождения Аннакули от его прежних убогих и жалких представлений, идейное перерождение человека, то есть то, что должно было бы составить идейный и художественный центр повествования, дан в повести несколько схематично и бегло.

И все таки это не должно помешать нам увидеть, что в замысле автора повесть строилась именно как психологическая и что взялся за нее Дурдыев потому, что ему было необходимо обобщить в одном характере многие свои разрозненные жизненные наблюдения.

Ленивым и беспомощным увальнем рос Аннакули в родном ауле, пока призыв в армию не поставил его перед новыми, ясно очерченными задачами. Зачем же понадобилось Дурдыеву создать этот комедийно-утрированный и совсем не типичный для колхозной молодежи образ? Для того, чтобы беспощадно осудить и высмеять через него последние пережитки той пресловутой «восточной неподвижности», восточной патриархальщины, упрочению которой в течение столетий изо всех сил способствовали ханы, баи и муллы.

Инерция этой косной ленивой неподвижности и господствует над Аннакули в первых главах повести. Разжиревшее, неспособное к действию тело Аннакули, его сонливый, апатичный ум, его тремлющее воображение потому-то и обрисовано здесь Дурдыевым с таким выразительным и сочным комизмом, что писателю было важно дать художественно-убедительное и сатирически-заостренное представление о том косном, неподвижном, ленивом строе мышления, которое связывается обычно с понятием о «восточной неподвижности» и решительное преодоление которого было важным условием переделки сознания туркменских трудящихся в духе социализма.

В дальнейших главах повести Дурдыев и показал преодоление этой неподвижности: из школы советской армии его герой выходит неузнаваемо преобразившимся. Тогда-то нам и становится окончательно ясным, что самая комедийная утрированность в экспозиционной характеристике героя была нужна автору для того, чтобы нагляднее, ярче показать перелом, совершающийся в дальнейшем в характере Аннакули во время пребывания его в армии. Облагораживающая сила передовой социалистической культуры и осознанной дисциплины как бы заново пересоздали Аннакули. Смутное желание начать жить по-новому зародилось у него еще в деревне, под влиянием насмешливого отношения к нему со стороны колхозников. Армия, за которой в повести ясно чувствуется вся советская общественная система, мудрая массово-воспитательная работа коммунистической партии помогли претвориться этому желанию в реальные дела. Из армии Аннакули вышел совершенно новым человеком. Прежде у него не было ни твердости характера, ни настойчивости в преодолении трудностей, ни желания идти вперед. Все это дало ему соприкосновение с идеями советского патриотизма и пролетарского интернационализма, к которым его приобщили армейские командиры и политработники.

Мысль о благотворном воспитательном воздействии советской общественной системы на развитие каждого человека, мысль о непреодолимой силе, которую советские люди обретают в коммунистической партии и всесильном учении Ленина — Сталина, выражены и в других произведениях Дурдыева. Вчерашний батрак, только еще несколько дней тому назад получивший землю и волю из рук советской власти, юный Меред (в одноименном рассказе) уже чувствует непоколебимую уверенность в своем завтрашнем дне. Когда встревоженная угрозами Аллаберды-бая мать Мереди пробует уговорить его не ссориться с богачами, молодой дайханин отвечает ей туркменской пословицей: «У того, кто прислонился к горе, и сердце становится каменным», — и это старинное народное изречение звучит в его устах как формула непоколебимого оптимизма, обусловленного сознанием нерушимого единства трудового дайханства и коммунистической партии, как формула непоколебимой веры народа во всемогущество советской власти.

В этой вере и был заключен источник оптимистичности и идейной целеустремленности творчества Дурдыева, научившегося на опыте советской и, прежде всего, русской литературы показывать действительность так, как требует метод социалистического реализ-

ма, — в революционном развитии, в процессе непрерывного приближения к коммунизму.

После того, как были написаны последние рассказы Дурдыева, туркменская литература достигла новых идейных и художественных успехов. Обогащенные опытом послевоенных сталинских пятилеток, опираясь во всех своих творческих исканиях на исторические постановления партии по идеологическим вопросам, туркменские писатели дали за последние годы ряд произведений, в которых красота и величие советского общественного строя и благородный характер советского человека раскрылись в реалистических образах и с той полнотой, какой еще не могли достичь писатели, которым выпала участь положить своим творчеством первые камни в фундамент советской туркменской литературы.

Однако мы убеждены, что новые творческие успехи туркменской литературы не помешают русскому читателю с интересом и сочувствием встретить предлагаемый сборник рассказов Агахана Дурдыева, согретых жаром напряженной и трудной идейной борьбы, кипевшей в довоенные годы в туркменском селе. Они принадлежат к тем явлениям туркменской литературы, которые в известной мере подготовили ее нынешний расцвет.

Е. СУРКОВ.

Примечание: В настоящем издании некоторые из рассказов А. Дурдыева печатаются с сокращением и в литературной обработке, сделанной переводчиками.

М Е Р Е Д

Описанные ниже события произошли в одном из туркменских аулов в 1925 году.

Короткая летняя ночь была на исходе. На востоке заалела узкая полоска зари.

В зелени садов раскинулся аул Геокча. Предразсветную тишину нарушил разноголосый хор петухов, потом к нему присоединилось мычание коров и телят, ржание лошадей, заливистая перекличка собак. Зашевелились куры в курятнике рядом с кибиткой Мерета и одна за другой послетали с насеста на землю. А в ветвях абрикосового дерева, что росло перед самым входом в кибитку, защибетали пеночки, перепархивая с ветки на ветку.

Проснулась и Набат-эдже. Приподнялась, облокотившись на подушку, глянула на спавшего рядом сына. Ласково провела ладонью по его смуглому лицу, обрамленному темной бородкой, пробормотала что-то, зевая встала с кошмы, расстеленной на земле, и ушла в кибитку. Вернулась она с полными пригоршнями зерна, отворила курятник и принялась кормить кур, негромко скликая их: «цып-цып-цып». Куры, радостно хлопая крыльями, сбегались на ее зов. Накормив кур, Набат-эдже умылась, наполнила водой старенький закопченный кундюк, поставила его на очаг и развела огонь. Потом принесла из кибитки два глиняных чайника с отбитыми носиками, насыпала в каждый по щепотке чая и поставила возле Мерета.

Наклонившись к сыну, позвала негромко:

— Мередкули! А Мередкули! Проснись, солнышко взошло.

Сбросив халат, которым он был укрыт, Меред сел на кошме, достал из-под подушки кисет с табаком, свернул папироску. Набат-эдже принесла пиалы, нарезала чурек.

Меред встал, потянулся, так что суставы хрустнули сунул босые ноги в чарыки и пошел умываться. Набат-эдже невольно проводила взглядом невысокую ладную фигуру сына.

Чай пить сели в холодке, там, где от кибитки падала косая тень. У Набат-эдже уже давно вошло в привычку за утренним чаем поучать сына, читать ему наставления, как бы напутствуя на весь день. А иной раз случалось и побранит. И сегодня она осталась верна себе:

— Ай, сынок, сынок! Говорила я тебе: не трогай землю у Аллаберды-бая! Ты знаешь, какой это человек — Аллаберды? Змея, а не человек! Зло помнит, обиды не прощает. Мало ты от него муки натерпелся, когда работал на его земле дни и ночи? А теперь он тебя и совсем сживет со свету. Эх, сынок, сынок, зря ты мать не слушаешь.

— Полно, полно, мама. Знаешь, как говорит пословица: «У кого гора — опора, у того сердце из камня». Что мне бояться баев? Мне советская власть дала землю и воду, она обо мне заботится. Раз сказано — взять землю у Аллаберды-бая, поделить между бедняками, так я эту землю у него с руками оторву. А тебе, мать, тревожиться нечего.

— Много ты понимаешь, сынок. Поживи с мое на свете, так узнаешь, на какую подлость баи способны. Тогда увидишь, зря я тревожилась или нет.

— Вот что, мама, ты меня за то, что я взял землю и воду у Аллаберды-бая, не упрекай. Кто же, как не ты, меня поймет? Я у него семь лет батрачил. Каждый куст винограда, каждая яблонька на его участке — все выращено моими руками. Дни и ночи напролет я на его земле спину гнул. У меня до сих пор те мозоли с рук не сошли. Вся его земля моим потом полита. Неужто ты забыла, мать, что говорила мне тогда?

— А что я говорила, сынок?

— Ну, ладно, если ты забыла, так у меня твои слова

свежи в памяти. «Придет ли конец этим черным дням, этой нашей мученической муке!» — вот, что ты говорила.

— Верно, верно, сынок.

— Ну что ж, сбылась твоя дума-мечта. Рассеялась черная туча. Пришла советская власть, отдала беднякам землю баев.

— Понимаю, сынок, все понимаю. Большое счастье нам теперь дается в руки. Да только говорю тебе: будь осторожен. Один против баев пойдешь — смотри, как бы беды не вышло.

— Да разве я один? За нас теперь советская власть. Чего же мне бояться? А ты Аллаберды-бая испугалась, эх!

Напившись чаю, Меред обул чарыки, туго подпоясал халат кушаком и снял с гвоздя свою мохнатую меховую шапку.

Шумливый прозрачный арык, обсаженный тутовником и джидой, делил участок пополам. По одну сторону арыка стояли густолиственные яблони, груши, айва, персиковые и абрикосовые деревья, по другую — зеленел виноградник.

Меред работал весело, с подъемом. Чувствовал крепость своих мышц, радовался солнцу, ласковому ветерку, овевавшему потную спину. Кетмень с глухим стуком уходил глубоко в землю, выворачивая плотные серые глыбы. В лад взмахам и ударам кетменя звучала песня Мереди. Порой Меред прерывал работу, чтобы, поплевав на ладони, ловчее ухватить кетмень, и всякий раз при этом взгляд его устремлялся в сторону узенькой тропки, выбегавшей из тутовой рощи и вившейся по краю арыка.

Солнце поднялось высоко.

Ветерок принес едва уловимый шорох шагов по тропке и тонкое металлическое позвякивание. Кто-то шел с ведрами к арыку.

Сердце Мереди радостно забилося, когда он уловил эти звуки. Его кетмень, описав в воздухе круг, плавно опустился на землю. Опершись на черенок, Меред пристально смотрел на тропку.

Меж стволов тутовника мелькнуло красное кетени, Эджекыз — белолицая, стройная, в нарядной тюбетейке—

приблизилась к арыку. Блеск серебряного острия на ее тюбетейке, казалось, ослепил Мерета. Эджекыз наклонилась к арыку, и ее тугие черные косы коснулись земли.

Мерет не произносил ни слова и не сводил с девушки глаз. А Эджекыз, увидав Мерета, улыбнулась и чуть приметно кивнула ему, словно поманила к себе.

У Мерета от волнения пересохло в горле. Вскинув кетмень на плечи, он зорко огляделся вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, направился к арыку. Упав на землю, он жадно прильнул к прохладной воде, точно путник, изнемогший от зноя в безводной пустыне.

Когда, утолив свою жажду, он поднялся на ноги, Эджекыз уже наполнила водой оба ведра и стояла, с улыбкой глядя на Мерета. Глаза их встретились, но Мерет попрежнему не мог вымолвить ни слова. И только когда Эджекыз уже собралась уходить, Мерет швырнул свой кетмень на землю и взял девушку за руку. Собравшись с духом, он произнес:

— Эджекыз-джан, зачем меня без огня жжешь?

— Что это ты выдумал!

— Будто ты не знаешь. Целый день только и жду, когда же ты придешь за водой. Целый день на тропку гляжу, глаза проглядел.

— Вот беда-то! Что ж мне теперь — и к воде, значит, ходить нельзя?

— Не смейся, Эджекыз, не смейся, — с силой молвил Мерет и схватил девушку за обе руки. Она сразу притихла и робко глянула на него снизу вверх. Снова наступило молчание, но на этот раз его нарушила Эджекыз.

— Да я тоже без тебя скучаю, — чуть слышно призналась она. — Если днем не вижу, вечером сама не своя хожу...

Эджекыз говорила, а Мерет все крепче и крепче сжимал ее руки.

— Милая Эджекыз, значит, не надо нам расставаться. Скажи, когда мы с тобой будем вместе навсегда?

— Отпусти мои руки, Мерет... Слышишь? Вот так. Теперь перейди на ту сторону арыка.

— Это зачем?

— Слушайся, когда тебе велят.

Мерעד повиновался и, перепрыгнув арык, стал покорно ждать решения своей участи.

— Вот что, Мерעד, — сказала она, помедлив — Мне самой эти встречи украдкой давно не по душе. Возьми меня в свою кибитку, Мерעד.

— Эджекыз, любимая! Да пойдем хоть сейчас.

— Нет, сейчас не пойду. Я своих боюсь. Они за мной в четыре глаза следят, шагу за порог ступить не дают: «Ты куда? Ты зачем?...» Не нравится им, что я грамоте учиться хочу, из кибитки на свет вырваться...

— А когда же ты придешь, Эджекыз, когда?

— Завтра отец поедет на базар, урюк продавать. За день не обернуться ему, дел много, заночует в городе. А мать всегда рано ложится. Как смеркнется, приходи к туовой роще.

— Хорошо, милая Эджекыз, завтра буду ждать тебя, как только спустятся сумерки.

— А куда поведешь ты меня, Мерעד?

— Пойдем прямо к председателю аулсовета и спросим его, как нам быть. Скажем, что хотим жить по новому закону...

— Хорошо, Мерעד. И я об этом думала.

— Эджекыз, любимая!

— До завтра, Мерעד.

— До завтра, Эджекыз.

Но они все еще стояли, разделенные арыком, глядели друг на друга, и только резкий старушечий голос, позвавший Эджекыз, заставил ее оторвать глаза от Мереда.

— Эджекы-ыз! — звала ее мать. — Эджекы-ыз! — И слышно было, как в промежутках между этими возгласами она ворчит и бранится.

Эджекыз взяла ведра и пошла к роще, легко ступая и чуть покачиваясь на ходу. Пройдя несколько шагов, она оглянулась, еще раз окинула Мереда взглядом и скрылась за деревьями.

Мерעד поднял с земли свой кетмень и с утроенной энергией принялся за работу. Пухом рассыпалась под его ударами твердая, пересохшая от солнца земля. Ме-

ред работал, не разгибая спины, но не чувствовал усталости. Он работал для себя, а не для бая, на своей земле, а не на байской, и в ушах его все звенел и переливался нежный голосок Эджекыз. Меред запел, и песня его звучала еще веселее, чем прежде.

Солнце уже далеко склонилось к западу, когда Меред услышал веселый оклик:

— Ну как работается, Меред-хан?

— Спасибо, — ответил Меред, оглянувшись. Старинный друг Мереда — Мамед, как всегда добродушно улыбаясь, приближался к нему со стороны виноградника.

Меред и Мамед свели дружбу много лет назад, когда оба еще батрачили у Аллаберды-бая, и с той поры дружба их всегда оставалась крепкой и нерушимой, как скала. Только в этом году их пути побежали в разные стороны. Когда в 1921 году Аллаберды-бай впервые прослышал о том, что советская власть отдает землю и воду беднякам, он прогнал от себя Мамеда. С тех пор тот работал у Реджеп-бая, хитрого и лживого старика. А Мамед был так простодушен и доверчив, что другого такого простака, пожалуй, и не сыскалось бы в ауле. Немудрено, что он поверил лживым обещаниям и уговорам Реджеп-бая, который клялся, что женит его на любимой девушке. Сбитый с толку этими посулами, Мамед и тогда, когда его друг Меред уже взял свою землю и воду у Аллаберды-бая, все еще продолжал батрачить на Реджеп-бая. От надела, который ему выделил аулсовет, он отказался.

Окинув взглядом участок, на котором сейчас работал Меред, Мамед сказал со вздохом:

— Храбрый ты, как я погляжу, Меред. Как это ты не побоялся взять землю у Аллаберды-бая?

— Да с какой стати мне его бояться? Я не то, что взял, а прямо зубами вырвал у Аллаберды-бая свою долю. Я — не ты. Это ты веришь лживым словам Реджеп-бая, который напевает тебе в уши: «Ты — мой младший брат, я тебя женю, будет у тебя своя семья, свой дом». А ты уж и рад стараться гнуть на него спину от зари до зари. Живешь у него в доме, как нищий. Ну,

а я, друг, не Мамед, а Меред, я силой взял землю у баев.

— Да меня уж в аулсовете ругали... А вот не могу я так, как ты.

— Почему же не можешь?

— Да ведь о том свете тоже подумать надо.

— А вот Аллаберды-бай того света не боится. Ты на него пять лет батрачил, а он выгнал тебя и копейки не дал. Что же это он о том свете не вспомнил? А теперь Реджеп-бай твои кости грызет. Тоже не очень-то много о том свете думает.

Опустив голову, Мамед в задумчивости ковырял землю носком чарыка.

— Если бы можно было вперед заглянуть, свою судьбу узнать...

— А теперь вперед заглянуть легче легкого, теперь каждому его судьба видна. Она в наших руках. Вся земля и вода принадлежит теперь советской власти, а советская власть стоит за рабочих и крестьян.

Мамед поднял голову и недоверчиво поглядел на Мереду.

— Ну, друг, знаешь пословицу: «Даром ничего и в Бухаре не дают».

— Молодой ты, а мысли у тебя стариковские, — покачивая головой, сказал Меред. Он скрутил папироску, сунул ее в мундштук и спросил, присев на корточки под раскидистым абрикосовым деревом:

— Ты бываешь у Аллаберды-бая?

— Бываю.

— Обо мне разговоров не слыхал?

— О тебе они говорят так: «Пускай себе работает, надрывается. Все равно ему урожай не снимать». А жена бая кричит: «Мы этому вору-грабителю выпустим кишки прямо здесь, у нас на участке, на той земле, что он у нас украл!» Вот какие у них черные мысли, Меред.

— Да, я давно знаю, что они задумали что-то недоброе. Ладно, друг, ничего. Заходи вечером ко мне, потолкуем.

— Будь здоров, Меред.

— Будь здоров.

Меред проработал на своем участке до сумерек. Уже начало темнеть, и все крестьяне ушли с полей, лишь кое-где еще видны были согнутые спины, когда, выпрямившись и отерев пот со лба, Меред увидел, что по краю межи к нему идет Аллаберды-бай. Бледный, с тревожно бегающими глазками, он не спеша подходил к Мереду, заложив за спину руки и важно выпятив живот. Меред сделал вид, что не замечает приближения этой зловещей фигуры, и продолжал работать.

Тяжело отдуваясь, Аллаберды-бай остановился возле Мереда.

— Что это, Меред-хан, тебя так тянет на этот участок? Неужто тебе еще за прошлые годы не надоело на нем работать?

— Привычка, бай-ага. Столько лет я этот участок своим потом поливал, что уж, видно, до конца жизни мне теперь на нем трудиться...

Бай угрюмо скривил рот, ошетилив усы.

— Ты так полагаешь, Меред-хан?

— Да, вот так, — сказал Меред твердо.

Этот ответ так обозлил Аллаберды-бая, что он побагровел. С минуту он молча топтался возле Мереда. Наконец его прорвало:

— Меред! Ты семь лет ел мою соль. А теперь позарился на мою землю. Отступись, пока не поздно! Пожалеешь! Ты думаешь, эта голь перекатная — все эти нищие, босяки, вроде тебя — одолеет нас? Не знал я, что ты такой дурак, Меред.

Опершись на кетмень, Меред спокойно, с усмешкой смотрел на бая. Ответил негромко и неторопливо, только голос прозвучал как-то глуше:

— Если я семь лет ел твою соль, бай-ага, то ты семь лет пил мою кровь. Вот мы с тобой и поквитались.

Бай выпятил губы, засопел, с трудом подавляя клокотавшую в нем ярость.

— Ты думаешь власть теперь и вправду твоя?

— Думаю.

— Ну, смотри, смотри...

Бормоча себе что-то под нос, бай ушел. Меред поглядел ему вслед.

— Не на такого нарвался. Не запугаешь! Прошло ваше время.

И все же встреча с разъяренным стариком взволновала Мерета. По дороге домой он с горечью думал о том, что еще далеко не у всех баев отобрана земля и вода, что некоторые из них еще продолжают чувствовать себя хозяевами в ауле. Почему же их до сих пор не обезвредят? Вопрос этот мучил Мерета, и он решил поговорить об этом в комиссии по распределению земли и воды.

Дойдя до своего двора, Мерет бросил кетмень в шалаш и, не заходя в кибитку, повернул обратно.

Председатель сельсовета Нургельды был невысокого роста, худощав. На подвижном, выразительном лице его обращали на себя внимание глаза — ясные, доверчивые, они изливали в душу собеседника теплый ласкающий свет. Таким и был Нургельды: сердечным, отзывчивым на чужое горе, жадно ищущим в людях хорошее. Из Красной Армии он вернулся слегка прихрамывая. Немало и других отметин оставила гражданская война на его крепком, жилистом теле. В регулярную армию он попал из партизанского отряда, и потому на селе за ним установилась кличка «Партизан». Эта кличка, как и боевая слава Нургельды, делали его героем в глазах многих юношей из окрестных сел.

Когда Мерет пришел к Нургельды, тот усадил его рядом с собой на кошму и гостеприимно придвинул к нему подушку.

— Ну, как дела, Мерет-джан? — спросил Нургельды, наливая в пиалы крепко заваренный чай.

— Спасибо, дела пошли на лад.

— Аллаберды-бай не трогает тебя?

— Какое там — не трогает... Сегодня притащился на участок, грозил, прогнать хотел. Я его, понятно, не послушал. Ушел он злой, как сатана. Не знаю уж, что дальше будет.

— Да ничего. Ты его не бойся. Скоро мы их всех приструним.

— Я тебя, Нургельды, спросить хотел.

— О чем, друг?

— Одного я никак в толк не возьму: почему не у всех баев отобрали землю и воду? И вообще, зачем у нас на селе остались бай, что они тут делают?

— А ты приглядишься повнимательнее, попробуй сам мозгами пораскинуть. Ты, что ж, не видишь разве, что у нас творится? Пока мы новую жизнь строим, проклятые бай тоже не дремлют. Немало темных крестьян удалось им на свою сторону перетянуть. Одному посулили, другого застращали. Ишаны и муллы им в этом помогают. А председатель кошчи¹⁾ оказался человеком ненадежным, слабым. Но завтра к нам приедут из района. Выберем нового председателя кошчи. Нам сейчас действовать нужно. Дружно действовать, всех на ноги поднять, не то бай нас живьем съедят. Что-то они замышляют.

Мерעד взял пиалу с чаем и задумчиво проговорил:

— Да-а.. Вот оно что. Вижу, многого я еще не понимал.

— Наша задача, друг, всем батракам растолковать, что такое бай, что от них добра не жди. Им свою волчью натуру изменить невозможно.

— Значит, завтра собрание кошчи? Будем председателя переизбирать?

— Да. Давно нам это сделать надлежало. Зря мы медлили.

Мерעד молча допил чай. Поднявшись, он сказал:

— Я, Нургельды, завтра, как смеркнется, опять загляну к тебе. Есть у меня еще одно дело...

— Милости прошу, — просто ответил Нургельды. Он понял, что на душе у его гостя есть какая-то тайна, но не счел удобным расспрашивать и только внимательно вглядывался в его смутно видневшееся в сумерках лицо.

В эту ночь Мерעד долго ворочался с боку на бок, перекатывая голову по подушке. Неотвязные мысли не давали покоя. Вспоминались слова председателя аулсовета. Жирный, потный, разъяренный Аллаберды-бай то и дело возникал перед его взором. И это было тем досаднее, что не о нем были думы Мереда и не его хоте-

¹⁾ К о ш ч и — союз бедноты — Ред.

лось ему видеть перед собой. Но стоило ему только вызвать в памяти образ Эджекыз, как из-за плеча девушки снова выглядывало плоское бледное лицо с крохотными глазками...

— Э-эх... Двум смертям не бывать... Ничего они мне не сделают, руки коротки, — сказал себе Меред и, наконец, уснул.

Когда Меред открыл глаза, солнце стояло высоко. Набат-эдже уже и курам корм засыпала и чай заварила; на кошме возле Мереди, как всегда, стоял чайник зеленого чая и пиала.

Мереди прошел в кибитку и, порывшись в торбе, висевшей на стене, достал кусок душистого мыла. Выйдя во двор, он попросил мать полить ему и стал умываться. Увидав мыло в руках Мереди, Набат-эдже широко открыла глаза и недоуменно покачала головой. Обычно Мереди умывался с мылом никак не чаще раза в месяц.

— Что такое приключилось, сын мой? — удивленно спросила Набат-эдже. — Мне показалось даже, будто солнце сегодня не с той стороны взошло.

— Поливай, поливай, мама! — весело отозвался Мереди. — Сегодня вечером ты увидишь, с какой стороны оно всходит и в какую заходит!

Смысл этих загадочных слов понять было невозможно, Набат-эдже и не пыталась в них вникать. Только пытливо поглядела на сына. Уже не первый день замечала она, что Мереди находится в каком-то особенном, радостном и взволнованном состоянии духа, но причину этого подъема старая женщина, естественно, видела только в том, что ее сына вместе со всей бедняцкой частью села наделили землей и водой.

Умывшись, Мереди достал из торбы зеркальце и щипчики. Посмотрелся в зеркальце, пригладил усы, брови и, усевшись в тени кибитки, начал по волоску выщипывать бороду. Начисто разделавшись с волосами на подбородке, он кинул на себя последний взгляд в зеркало и, почувствовав полное удовлетворение, весело прошелся взад и вперед перед кибиткой. Тут в глаза ему бросился его халат: он был ветхий, изношенный, весь в заплатках.

Оттого, что халат этот сотни раз на своем веку чинился и латался, стал он непомерно узок для широкоплечего статного Мереди. Плоховаты были и чарыки — они только каким-то чудом ухитрялись еще держаться на ногах.

«Ну, что тут будешь делать! — с досадой подумал Мереди. — Плоховат халат, плоховат. А ведь какой был отличный халат, и когда это он успел так износиться? Ну, так ведь не за халат же она замуж выходит, а за меня. Хорошо бы, конечно, справить новый да и сапоги купить в городе...» И Мереди на мгновение представилсь, как сидит он в новом красивом халате, а Эджекыз наклоняется и ставит перед ним новенькие хромовые сапожки, и тугие черные косы ее касаются пестрого ковра.

— Мереди, чай простынет! — позвала его Набат-эдже, думая про себя: «Что это он сегодня и в поле не торопится...»

Пока сын прихорашивался, Набат-эдже замесила тесто на две пресных лепешки, заквасила молоко и, достав собранную за долгие годы верблюжьей шерстью для одеяла, села ее перебирать.

Увидя нашиванную шерсть, Мереди спросил:

— Мама, ты никак новое одеяло стегать собралась?

— Да вот хочу простегать, сынок.

— Торопись, торопись, мать, как бы тебе не пришлось скоро встречать в доме сноху, — весело крикнул Мереди и вышел со двора. Ноги несли его легко, как путника, идущего по пути надежд.

Никогда еще время не тянулось так медленно. Можно было подумать, что день, минуя ночь, прямо перешел в следующий, — таким длинным казался он Мереди. Солнце только начинало клониться к западу, когда Мереди услышал оклик Мамеда. Подняв голову и разогнув спину, Мереди увидел, что Мамед стремительно бежит к нему со стороны аула.

— Что случилось, Мамед? — спросил Мереди, сразу почуяв что-то недоброе.

— Слушай, Мереди-друг, что я сейчас узнал. Вчера Аллаберды-бай, Реджеп-бай, Рахим-бай, сын Ниязмурада, и еще кое-кто собрались у Мурат-бая. Все они сплю-

нули в одну ямку и порешили прикончить нашего председателя сельсовета Нургельды, а заодно и тебя. Мне это сейчас один верный человек сказал, а я к тебе бросился.

— Ко мне бросился? — крикнул Меред, хватая Мамеда за руку. — А Нургельды ты предупредил?

— Нет, — оторопело пробормотал Мамед, — я прямо к тебе...

— Эх ты! — укоризненно махнул рукой Меред. — Теперь поспешить надо. И уже на ходу крикнул: — Спасибо, друг!

Подходя к кибитке Нургельды, Меред увидел его жену, которая несла дрсва к тамдыру¹).

— Нургельды дома?

— Еще в полдень в город ушел.

— В город ушел? Что это он мне вчера ни словом не обмолвился, что в город пойдет?

— Да он и сам не знал. Нежданно-негаданно какое-то дело объявилось.

«Плохо!» — подумал Меред.

— Гельднедже, дай мне воды напиться. Похолоднее.

— Пройди в кибитку, там в ведре есть.

Меред вошел в кибитку; поднял с земли ведро и стал пить прямо из ведра, проливая в спешке воду на грудь. «Взял ли Нургельды с собой оружие?» — мелькнуло у него в уме.

Опустив ведро на землю, Меред подошел к хурджину, висевшему на стене кибитки, пошарил в нем и сразу нащупал наган. «Так и есть, безоружный пошел». — С минуту Меред стоял посреди кибитки, раздумывая. Милое тонкобровое лицо Эджекыз на мгновение встало перед его взором. — Нет, если она меня любит, так будет дожидаться, — подумал он. — Прежде надо Нургельды из беды вызволить».

Простившись с женой Нургельды, Меред поспешил к секретарю партийной ячейки Аману. Сын Амана, Нурмурат, сидел в тени, прислонившись к стене кибитки, и читал газету. Меред крикнул ему:

— Нурмурат! Где отец?

— Пошел по селу объявлять о перевыборах кошчи.

1). Печь. — Ред.

Меред подошел поближе и, наклонясь в Нурмураду, сказал тихо:

— Ступай, разыщи отца, Нурмурат, и улучи минутку, шепни-ка ему, чтобы он один вечером ходить поостерегся. И вообще лучше тебе около него побыть. Понял?

Нурмурат нахмурился и молча кивнул головой.

О чем-то размышляя, Меред огляделся вокруг и увидел оседланного коня, привязанного возле конюшни.

— Вот что, Нурмурат, принеси-ка мне уздечку и камчу, — сказал он. — Я у вас коня возьму. Мне по очень спешному делу в город съездить нужно.

Нурмурат вынес уздечку и камчу. Меред вскочил в седло и погнал коня в город.

Вечерело. За селом Меред пустил коня вскачь. От села до города было километров двадцать, и не прошло и часа, как Меред уже скакал по городским улицам. Миновав первые строения, он придержал коня и поехал шагом, пытливо оглядывая прохожих. Никто не ускользнул от его внимания. Подъехав к базару, он спешился, привязал взмыленного коня и бросился в зеленой ряд.

Потолкавшись между лотков с арбузами и дынями и не увидев ни одного знакомого лица, Меред заглянул в молочный ряд, оттуда в мясной и хотел было уже уходить с базара, но в эту минуту поодаль мелькнула знакомая сутулая фигура в ватном халате, и Меред узнал отца Эджекыз.

— Курбан-ага! — крикнул Меред, махая рукой, чтобы привлечь к себе внимание.

Старик оглянулся и из-под надвинутого низко на глаза бараньего тельпека поглядел на Мереду.

— Курбан-ага, не видал ли ты здесь, в городе, Нургельды? — спросил Меред.

— Какого Нургельды?

— Да председателя аулсовета.

— А... Видал. Я вон в ту чайхану заходил чайку попить, и он там был, обедал.

— Один был?

— Нет, с ним еще двое молодых парней из нашего аула сидели — сын Реджеп-бая и младший брат Мурат-бая да еще третий какой-то, чужой. Обедали вместе.

У Мереду захолонуло сердце. Он мгновенно вспомнил

обоих парней, упомянутых Курбаном. Неглупые и осторожные, они давно уже всячески старались показать односельчанам, что им вовсе не по пути со стариками, что они никак не разделяют их отживших взглядов. Они часто поэтому заходили в аулсовет и расспрашивали Нургельды о мероприятиях советской власти, о том, какие новые законы принесла она с собой в жизнь дайхан. Меред никогда не верил этому показному смирению. Но Нургельды... доверчивый Нургельды не распознал, как видно, под овечьей шкурой байских сынков их волчью сущность.

Не сказав больше ни слова Курбан-ага, Меред стремительно повернулся и почти бегом направился к чайхане.

Но в чайхане ни Нургельды, ни его спутников уже не оказалось, и все расспросы Мереди тоже ни к чему не привели. Тогда он обошел еще две-три чайханы, все более и более чувствуя безнадежность этих поисков. Солнце село. Как найдешь человека в большом городе, да еще в ночное время? Куда мог пойти с этими парнями Нургельды? Меред терялся в бесчисленных догадках, одна другой невероятнее и фантастичней. Злоба на баев и на свое бессилие душила его. Он вернулся к базару, отвязал коня и медленно поехал назад к чайхане, где днем обедал Нургельды. Зачем? — он и сам не знал.

В тяжелом раздумье он остановил коня на дороге перед чайханой, не зная, на что решиться.

Внезапно до него донесся скрип колес и одновременно резкий окрик:

— Эй, ты! Чего стал посреди дороги! — Из темноты проступили неясные очертания арбы; фигура аrobщика, который сидел на краю, свесив ноги, показалась Мереду знакомой. — Это ты, Ашир? — негромко окрикнул Меред.

— А ты чего тут стоишь, Меред? — спросил Ашир.

— Поехали домой вместе.

— Послушай, Ашир, ты здесь нашего председателя Нургельды не видал?

— Видал. Да он уже давно уехал.

— Куда уехал?

— Почем я знаю. Видел я, как они тут повозку на углу нанимали...

— Кто они?

— Нургельды, сын Реджеп-бая, еще кто-то, уж не припомню.

— Ну хоть в какую сторону они поехали, не видал?

— Да сдается мне, что держали они путь туда, в сторону северной дороги. А что случилось, Меред?

Но Меред уже поднял коня на дыбы, круто повернул и, пригнувшись к луке седла, поскакал во весь опор в указанном направлении.

Когда Меред выехал за город, взошла луна и осветила белую пыльную и совершенно пустынную дорогу, пролегавшую по степи вдоль железнодорожного полотна. Испуганные стуком копыт птицы вспархивали с телеграфных проводов, где они примостились было на ночлег. Меред скакал, гонимый страхом за жизнь Нургельды, все еще надеясь, что ему удастся догнать повозку.

Внезапно впереди на дороге показалось какое-то темное пятно, и Меред услышал поскрипыванье колес и стук копыт. Меред резко осадил коня и поставил его поперек дороги.

— Стой! — крикнул он.

— Чего тебе? — испуганно отозвался возница, останавливая повозку.

— Откуда едешь?

— Возил людей в тот аул.

— Сколько их было?

— Четверо.

— В какой дом ты их отвез?

— Да они сошли у околицы.

Меред хлестнул коня камчой. До аула было уже недалеко. У околицы Меред спешился и замер, прислушиваясь. Все было безмолвно, только ветер жалобно и тонко гудел в проводах и зловеще шелестел кустарником и сухой травой. Меред прошел несколько шагов вперед, пристально вглядываясь в дорогу, и быстро обнаружил то место, где повозка повернула обратно. Здесь на пыльной дороге можно было различить довольно многочисленные, хотя уже отчасти сглаженные ветром следы. Все они вели в противоположную от аула сторону — к железнодорожному полотну. Меред вскочил в седло и, свернув

с дороги, поехал шагом прямо по степи, в том направлении, куда указывали следы, чутко прислушиваясь к каждому шороху и зорко всматриваясь в залитую лунным светом степь.

Подъехав к железнодорожному полотну, Меред остановил коня и окинул взглядом убегавшие вдаль рельсы. Луна спряталась за облако, и кругом было темно, тихо и пустынно. Вдруг настороженный слух Мереда уловил едва слышный далекий шум поезда, и почти в то же мгновение тишину пререзал слабый и глухой, похожий на мычанье, стон. Меред прирос к седлу. Через несколько секунд стон повторился. Теперь Меред уже знал, с какой стороны доносится стон. Он повернул коня и медленно поехал вдоль дороги, оглядывая темное полотно. Стоны повторялись примерно через равные промежутки и становились все явственней. Меред подхлестнул коня, чувствуя, как сердце бешено колотится у него в груди. Полная, круглая луна величаво выплыла из-за облака, посеребрив рельсы, и Меред увидел, что в нескольких шагах от него на полотне что-то темнеет. И в эту минуту шум далекого поезда стал вдруг пугающе близким, отчетливым, ясным. Меред соскочил с коня и в одно мгновение вскарабкался на насыпь. Поперек рельсов связанный по рукам и ногам ничком лежал человек. Меред проподнял ему голову и увидел обезображенное, все в ссадинах и кровоподтеках лицо Нургельды. Он был без памяти. Враги избили его, заткнули кляпом рот и положили на полотно.

— Нургельды! — не своим голосом крикнул Меред. Обхватив дрожащими руками безжизненное тело, Меред хотел стащить его с полотна и с ужасом убедился, что Нургельды привязан к рельсам. Земля была подрыта, и толстые веревки, опутывавшие тело Нургельды, пропущены под рельсы. На какую-то долю секунды Меред растерялся. Он чувствовал, как дрожь от надвигающегося поезда все явственнее проходит по рельсам, и ему даже почудилось, что он уже слышит горячее дыхание паровоза у себя за плечом. Потеряв голову от волнения, Меред сделал было отчаянную попытку порвать путы руками, но тут же вспомнил, что за поясом у него спрятан нож, и, вытащив его, принялся перерезать ве-

ревки. Потом с силой рванул к себе тело Нургельды, и в это время что-то огромное, дышащее огнем и дымом, надвинулось на Мереди... Оглушенный, он кубарем покатился с насыпи, держа в объятиях друга. Поезд промчался мимо, растаяв во мраке красным огоньком.

Эта короткая летняя ночь тянулась для Эджекыз томительно долго. Полная луна уже прокатилась по небу и скрылась за горизонтом, Мрак в тутовой роще куда еще вечером прибежала девушка, сгустился, стал непроницаемым, а потом понемногу начал редеть, и из него, белея, проступили стволы деревьев.

Эджекыз тихонько плакала, прислонившись спиной к старому тутовнику, уткнув голову в колени. Потом подняла мокрое от слез лицо и запрокинув голову, поглядела на проступавшее между верхушками деревьев небо с уже потускневшими, слабо мерцавшими звездами.

Эджекыз казалось, что жизнь ее кончена. Она и помыслить не могла о том, чтобы вернуться теперь домой. Всю ночь прождала она здесь, в роще, Мереди, несколько раз порывалась уйти домой и возвращалась снова. «Ну, еще немного подожду, еще минут пять... Быть может, он придет», — каждый раз говорила она себе и ждала, ждала, с каждым часом все больше теряя надежду и все еще снова надеясь...

Когда же Эджекыз, наконец, поняла, что она ждет напрасно, что Мереди не придет, ее охватило отчаяние.

«Зачем он обманул меня? За что, за что он как жестоко обошелся со мной?» — снова и снова спрашивала она себя и, не выдержав, расплакалась навзрыд, крепко прижимая сжатые в кулачки руки к груди, словно стараясь унять боль, сжавшую ее сердце. Мысль о том, что теперь ей придется вернуться домой и опять зажить по-старому, была непереносима. «Что же мне теперь делать? Что делать?» — твердила себе Эджекыз, и мысли ее путались. На рассвете, измученная, она задремала, прижавшись щекой к шершавому стволу тутовника.

Ее пробуждение было неожиданным и прекрасным. Она почувствовала сквозь сон, что кто-то тихонько гла-

дит ее по волосам и плечу. Эджекыз испуганно открыла глаза и увидела склоненное к ней лицо Мерета. Сначала она хотела было рассердиться и даже всердцах легонько оттолкнула Мерета от себя, но радость при виде его была так велика, что заглушила обиду. Эджекыз молча протянула к нему руки и припала головой к его груди.

Увидев, что Эджекыз плачет, Меред воскликнул:

— Эджекыз-джан, прости меня, прости! Страшное дело случилось сегодня ночью. Он и задержало меня. Но сердце подсказало мне, что ты здесь, что ты меня ждешь. — И Меред рассказал Эджекыз, как спас он Нургельды, когда тот был на волосок от гибели, как он отвез его домой и был при нем неотлучно, пока Нургельды не очнулся. — Ну, они за это поплатятся, — заключил свой рассказ Меред. — Головой нам за Нургельды ответят.

— Кое-кто уже поплатился, — негромко сказала Эджекыз, глядя куда-то в одну точку и сурово сдвинула брови.

— Как так? — спросил Меред, с удивлением глядя на девушку.

— А ты еще и не знаешь ничего? Вчера вечером Аман провел собрание бедноты, а потом приехавшие из района представители увезли с собой в город шесть баев.

В это время первый яркий луч солнца прорезал рощу, окрасил в нежно-розовые тона стволы и заиграл на островерхой тюбетейке Эджекыз.

Тогда Меред взял Эджекыз за руку, и они направились к кибитке председателя аулсовета Нургельды.

1940 г.

РАССКАЗ СТАРУХИ

Дружные у нас в колхозе девушки, работающие и веселые. В работе на хлопковом поле за ними трудно угнаться, а песни запоют — не наслушаешься. И в клубе они первые затейницы, а когда на улице вечерком соберутся, по всему аулу их задорный смех слышится. Удивляться этому не приходится, в счастливое время живем — девушкам и женщинам в жизни широкие пути открыты, не то, что раньше было.

Что же сегодня не слышно на улице девичьих голосов? Аул залит лунным светом, в звонком арыке серебрится вода, каждое деревцо видно в колхозном саду, на ветвях можно различить спелые плоды. Трудно усидеть дома в такую ночь. Правду сказать, наши девушки и не засиживаются дома. Заранее сговорившись, они собрались вместе и гурьбой отправились к Бибигозель.

Старая Бибигозель, постелив коврик, сидела на закрытой виноградными лозами веранде и сучила пряжу. Длинными, худощавыми пальцами она ловко захватывала пряди рыжеватой шерсти и, вращая веретено, тянула ровную, туго натянутую нить, временами сматывая пряжу с веретена на клубок. Боясь ей помешать, девушки несмело поднялись на веранду, некоторые остановились перед густой сеткой из виноградных лоз и листьев.

— Заходите, красавицы, — приветливо встретила их Бибигозель, улыбаясь и щуря глаза от яркого света электрической лампочки, висевшей на веранде. — Добро

пожаловать! Как бы вас не сглазить, очень уж вы быстро растете и хорошеете...

С этими словами она вынесла из комнаты еще один коврик и разостлала его на середине веранды.

— Садитесь, дочери мои, садитесь! — пригласила она своих гостей.

Но девушки не садились до тех пор, пока не опустилась на коврик сама хозяйка. Старуха вечерами часто засиживалась, беседуя с девушками. То позабавит их сказкой, то, отыскав в памяти что-нибудь интересное, расскажет про свою прошлую жизнь. Память у Бибигозель была еще надежная, старуха могла часами неторопливо говорить своим тихим, глуховатым голосом, не сбиваясь, будто читая по написанному. И на этот раз она сразу же догадалась, зачем пришли девушки, но не подала вида, а, наматывая пряжу, сама начала расспрашивать притихших девушек об их жизни. Одну спросила, что делает ее мать, у другой похвалила новое платье, а черноглазую, с короткими косичками Солтан смутила вопросом, не думает ли она выходить замуж. Солтан, прикрывая лицо кончиком платка, быстро перевела разговор:

— А что вы, бабушка, вязать собираетесь?

— Джарапк¹⁾ для внучки. Вот насучу пряжу, выкрашу ее в разные цвета и начну вязать. Вам тоже нужно знать это ремесло. Работайте в поле, учитесь, а про рукоделье не забывайте. Это умение нам из рода в род передается.

— Нас в школе учат и вышивать и вязать, — быстро отозвалась самая младшая среди девушек.

Старухе это понравилось, она взвесила на ладони тугой клубок и сказала, не поднимая головы:

— Вот и хорошо. Ловкая рукодельница — первая невеста в ауле!

Девушки переглядывались и, подталкивая друг друга, зашептались. Они видели, что Бибигозель хитрила с ними, хотела помучить своих нетерпеливых собеседниц.

— Бабушка, расскажи сказку.

— Нет, лучше загадку загадай! — защебетали они наперебой.

¹⁾ Носки узорчатой и многоцветной вязки. — Ред.

Черноглазая Солтан поправила на груди косички с серебряными украшениями и замахала на подруг рукой.

— Все сказки, да загадки! Бибигозель, вы прошлый раз не досказали нам... Помните? Про свою жизнь начали рассказывать и не dokonчили. — Она прижалась худеньким плечиком к старухе и просяще заглянула ей в глаза. — Расскажите еще...

Бибигозель, словно прислушиваясь к чему-то, посмотрела в темный угол веранды долгим, задумчивым взглядом и вздохнула.

— Не одной Солтан, всем вам полезно послушать об этом, — проговорила она. Потом еще помолчала и добавил тихо: — Чтобы вы могли по-настоящему оценить ваше счастье, вам надо знать про то, как мы прежде жили.

Теперь уже не одна Солтан, а все девушки принялись упрашивать Бибигозель. И вдруг стало тихо, так тихо, что было слышно, как на другом конце аула стучал двигатель колхозной электростанции.

А Бибигозель, прежде чем начать рассказ, остановила свое веретено. Лицо ее помрачнело и посуровело — видно, слишком сильно нахлынули на нее воспоминания. И в эту минуту стали особенно заметны крупные морщины на ее темном лице, обрамленном упавшими на лоб седыми прядями. Она вся напряглась, словно силилась сдвинуть с места тяжелый камень и хотела сказать девушкам: «Вот посмотрите, девушки, вся моя прошлая безрадостная жизнь придавлена этим камнем».

Наконец Бибигозель строго сомкнула густые брови и заговорила:

— Дети мои, вы счастливы, вы родились от счастливых матерей, а меня родила несчастливая мать. — Бибигозель провела сухими пальцами по лицу, закрыла глаза, а когда она их снова открыла, все увидели, что в них были не слезы, а злые огоньки, как будто ветер раздул давно загасшие угли. — Я расскажу вам о своей молодости, слушайте, — сказала Бибигозель торжественно.

По виноградным листьям пробежал горячий ветерок, зеленая сетка вокруг веранды дрогнула и заколыхалась,

и все вокруг в одно мгновение наполнилось таинственным шорохом, вздохами.

— Мой муж умер рано и после него у меня осталось двое детей. — Медленно заговорила Бибигозель. — Сыну было пять лет, а дочке пошел восьмой годик. Дети были моим утешением, единственной радостью на свете.

Жила я бедно, но чистоту любила. Дети всегда были опрятно одеты. Сыну я сшила шелковый халатик, дочка носила красивую тюбетейку и нарядное платьице. Соседки удивлялись, как у меня хорошо в кибитке: не дорогими коврами она была красна, а строгим порядком и чистотой.

Дети жили дружно, не разлучались нигде и никогда: вместе играли, даже обедать врозь не садились, бывало, куда сын — туда и дочка.

Ровно год я не снимала с головы траурную повязку. Соседи удивлялись, глядя на меня. Не раз говорили они мне:

— Нельзя умирать вслед за умершим. Не мучь себя постоянным трауром, хоть остаток своих дней проживи в радости.

Какая там радость! От горя я места себе не находила.

И вот однажды зашел ко мне свекор. Он даже прослезился, говоря:

— Невестка моя, я доволен тобой. Да и все мы, родственники, тобой очень довольны. Не расстраивайся больше, не мучь себя трауром. Что делать, судьба нас наказала! Хорошо, когда игрок признает свой проигрыш. Конечно, дело твое: хочешь — сиди дома, ну а если не хочешь, — он помолчал, тяжело вздохнул и прибавил тихо: — а если не хочешь, я предоставляю тебе свободу...

Он давал мне правильный совет, но я не хотела бросить детей, свой кров и выходить замуж. Не хотела, а все же послушалась людей. Однажды я вытащила из узелка шелковое кетени и надела его, повязала голову красивым платком, достала браслет и все свои украшения. Посмотрела на себя в зеркало и подумала: «Несправедливый мир, зачем он так рано поглотил мое счастье и мои надежды?!»

После этого я снова стала наряжаться и изменилась неузнаваемо. Вдовцы, которых не мало было в нашем селе, при встрече со мной не осмеливались поднять головы, а при виде моих глаз не могли выговорить слова. Гордая и смелая была я молодой, да и красоте моей завидовали многие.

Старуха сжала сухие бледные губы, помолчала.

— Где теперь моя бывая смелость? Она ушла вместе с молодостью. Ушла!..

— Зря так говорите, Бибигозель! — воскликнула одна из девушек. — Вы теперь гораздо смелее моей матери.

— Это не то, дочка. Я говорю о смелости, которую может родить только молодость. То, что вы сейчас видите во мне, — это холодный пепел истлевших углей. И огонь погас, и угли истлели...

Тут в разговор вмешалась внучка Бибигозель. Она задорно потрянула косичками и, готовая от нетерпенья сорваться с места, сказала:

— Бабуся, продолжайте же рассказ!

— Хорошо, хорошо... На чем только я остановилась-то? Так вот, однажды под вечер собралась я печь лепешки с зеленью. Только начала крошить траву, слышу — к дверям моей кибитки подъехал всадник. Он остановил коня и спрашивает:

— В этом доме есть мужчина?

— А зачем он тебе? — выскочив на улицу, быстро спросила я.

Моя смелость ошеломила его. Он тихонько ответил:

— Я хотел, чтобы он указал мне дом одного человека.

— А чей дом тебе нужен? — снова спросила я.

Незнакомый человек искал дом брата моего мужа, находившийся по соседству. Я указала ему.

— Спасибо тебе, молодка! — ответил он и отъехал к коновязи.

Снимая с коня хурджин, он несколько раз украдкой посмотрел на меня. О том, что было у него при этом на душе, я узнала только спустя некоторое время.

С непонятной мне .самой тревогой смотрела я, как, взвалив на плечо тяжелый хурджин, гость отправился в дом моего родственника по мужу.

Уродлив, неприятен был этот незнакомец. Весь он был как обрубок дерева, с обвислым, словно у осла, брюхом. Черная мохнатая шапка и черный халат делали этого человека страшным. Ковыляя на кривых ногах, он гусиной походкой дошел до порога и еще раз оглянулся на меня, прежде чем скрыться в доме родственников. Я забеспокоилась еще больше: что-то нехорошее таилось в его взгляде. «Неспроста ты приехал сюда», — подумала я.

Накрошила я траву и, немного переждав, решила зайти в дом брата моего мужа, чтобы узнать, что за человек был его гость. Он сидел за чаем и хвастливо рассказывал о своем богатстве. Его скрипучий, нудный голос противно отдавался в ушах.

Поскорее выбежав во двор, я спросила у свекрови, кто он такой.

— Не знаю, — развела она руками. — Как будто знакомый сына.

Через три дня после приезда гостя пришел ко мне мой брат. Я обрадовалась, усадила его, подложила под локоть ему подушку, подала чай и чурек. Села рядом с ним и спросила, как здоровье матери и братишек. Брат был не в духе. Он сидел и молчал, не поднимая головы от пиалы. Бывало, весело встречал моих детей, ласкал их, а сейчас даже и не спросил, где они, что с ними. Я поняла: брат что-то таит в душе, и, чтобы поддержать разговор, еще раз спросила про здоровье матери.

— Хорошее, — неохотно ответил он. А когда допил из пиалы чай, сказал: — Бибигозель, слушай меня...

— Брат мой, я слушаю!

— Я приехал за тобой, собирайся! Хватит тебе жить на попечении братьев мужа.

Будто кипятком ошпарили меня эти слова. Тогда я решила говорить с братом начистоту.

— Что же заставляет вас увезти меня к себе?

Брат первый раз посмотрел мне прямо в лицо и сказал:

— Продадим тебя.

— Разве мало того, что один раз вы уже продали меня?

— Продадим еще раз!

— Дорогой братец, — взмолилась я. — Я не могу оставить детей и пойти к вам. Пожалейте меня!..

— Слушай, Бибигозель, я не из тех молодцов, которые долго думают. Собирайся да побыстрее!

Он швырнул на кошму пустую пиалу, встал и пошел в дом брата моего мужа.

Я протянула вслед ему руки, но он даже не оглянулся. Новое горе упало на мою несчастную голову! Одинокая, беззащитная, я сидела и думала: «Вот тебе и родной брат! продает меня, разлучает с детьми! Что делать? Кому жаловаться? Не зря говорится: одинокую женщину и на верблюде змея ужалит. Что же делать, что?!»

Горе сжигало меня, я прикусила губу, ударила себя по лбу. Что может сделать бессильная женщина? Слез много, а силы нет. Я начала рыдать. Тогда в кибитку вбежал сын. Тепло ребенка — жарче огня. Я обняла его и прижала к груди. За сыном прибежала дочка, они обнимали меня, а я мочила слезами их нежные волосики. Сынишка ручонкой утер мои слезы и спросил, глупеныш:

— Зачем ты, мама, плачешь?

У меня язык не повернулся ответить ему, да и что я могла сказать?

Тут старуха снова замолчала. Она бессильно опустила на колени худые, с узловатыми жилками руки и потупилась.

— Ах, девушки, зачем вы заставляете меня на старости лет вспоминать это проклятое время! — сказала она протяжно.

Старуха приложила к глазам конец шали, покачала головой, как это делают женщины в минуты безысходного горя, и снова продолжала сидеть молча. Девушки притихли. Лишь Солтан осмелилась заговорить.

— Что же произошло потом? Расскажите, бабушка. Я вот слушаю вас, и как будто страшный сон вижу...

Ласково погладила Бибигозель ее по головке и продолжала:

— Я так расстроилась, что не заметила, как в комнату вошли свекор и брат. Свекор был сердечный старик. Увидев меня в слезах, он опечалился, будто только что

проводил своего сына в безвозвратный путь. Слезы мелкими бусинками покатались по его седой бороде.

— Что же нам делать, дитя мое, — сказала он. — Мы люди, обиженные судьбой. Желаю тебя счастья. — Он не мог сдержать себя, отвернулся и заплакал.

С плетью в руке ко мне подошел брат и крикнул:

— Хватит слез! Бросай детей и садись на коня...

Дети бросились ко мне на шею и начали испуганно плакать. Вбежала свекровь и начала причитать:

— Вай-вай! Что это такое! Вай-вай!..

— Ты унесешь из этого дома только мою голову! — решительно сказала я брату.

— Ну, что ж, не пойдешь по добру — унесу твою голову.

Брат был очень жесток. Я знала, что он не успокоится до тех пор, пока не добьется своего. Но на этот раз он уступил мне немного. На поднятый нами шум прибежали соседи. Узнав, в чем дело, они начали упрашивать брата, чтобы он на время оставил меня в покое и приехал за мной в другой раз. Соседи сказали, что они с вечера уведут от меня детей, а сейчас, мол, нехорошо силой отрывать их. С трудом усадили они брата на лошадь, и он уехал, пообещав приехать через день.

Меня ни на минуту не покидала мысль о том, что брат поддался на уговоры недавнего гостя, которому я, должно быть, приглянулась, что он польстился на его деньги и поэтому хочет силой выдать меня за этого богатого урода.

Бибигозель медленно встала и, обхватив руками голову, прошла вдоль веранды. Казалось, ей нехватало воздуха: она дышала тяжело, прерывисто. Но когда Бибигозель вернулась на свое место, лицо ее было спокойно.

И снова потянулся ее рассказ.

— Вышло так, как я думала. Вскоре опять приехал брат да не один, а с тем проклятым гостем. Не слезая с лошади, брат плетью постучал в дверь.

— Бибигозель!

Ах ты, злодей, на тебе сорву я свою злость, изобью тебя, а там пусть делают со мной, что хотят! Все во мне вскипело, я схватила ступку и с шумом выбежала за дверь.

— Звери вы, а не люди! — крикнула я, что было мочи, замахнулась на брата ступкой, но увидела перед собой револьвер и попятилась.

— Сейчас же собирайся! — приказал брат. — Садись на коня с этим человеком.

Он указал плетью на брюхатого, с обвисшим подбородком уроды, который надулся, как лягушка, и важно крутил усы. Я посмотрела гостю в лицо и сказала:

— Знай, я не буду твоей женой!

А он по-собачьи оскалил зубы, улыбнулся и покосился на брата.

— Не разговаривай много, быстрее собирайся! — сказал брат.

Я зашла в комнату, бросила ступку.

Набросила на голову черную шаль, обулась. Когда я вышла из комнаты ко мне подбежали дети. С плачем они бросились ко мне, умоляя: «Мамочка, не уезжай!» В последний раз я поцеловала детишек и, как в тумане, видела, что свекор со свекровью схватили их и утащили к себе. Малыши в ужасе бились в их руках. Сердце мое разрывалось от их жалобного крика: «Мамочка, родненькая, не уезжай!...»

Тяжелее этой минуты ничего не было в моей долгой жизни. Собрались соседи, но все они были бессильны помочь мне. Я попросила брата разрешить мне в последний раз взглянуть на своих малышек. Он разрешил, к несчастью. Ах, зачем, зачем я показалась им на глаза?! Они только разревелись пуще прежнего. Я уговаривала их не плакать, но сама плакала еще больше их.

— Я скоро вернусь, — только и сказала я им на прощанье и, готовая на все, выбежала на улицу.

Меня посадили на коня сзади брюхатого, и мы поехали.

Я до тех пор смотрела на дом, в котором остались мои дети, пока мы не выехали из аула. Долго мне слышался крик брошенных крошек.

Как пойманная птица, сидела я на коне сзади постылого человека. Ехали мы довольно долго, но на развилке дорог брат остановился и сказал своему спутнику:

— Ну, Аллаберды-бай, я поеду своей дорогой. Теперь Бибигозель стала твоей... Если она вздумает послушаться тебя, можешь убить ее. Мстить за нее я не буду,

— Будь здоров, — сказал брюхатый, и мы поскакали с ним дальше.

Молча сидела я на коне, бай же всячески старался задобрить меня, вызвать на разговор.

— Дорого ты мне стала, но ничего, я возьму свое! — слышался сквозь топот коня его противный голос. — Ты только не плачь, маслом будешь у меня питаться, одеваться будешь в шелка. Не думай о детях, я на руках буду тебя носить. Ты сразу понравилась мне, и я решил взять тебя в жены. А отказу мне ни в чем нет, ты это должна знать. Я купил тебя за большие деньги, в придачу к деньгам много товара дал за твои глаза...

Его слова пролетали мимо моих ушей. Я думала об одном: как бы освободиться от этого торгаша, купившего меня. как вещь.

В полдень мы, наконец, добрались до места и остановились возле белого дома, стоявшего рядом с тремя таким же домами, резко отличавшимися от множества угрюмых закопченных кибиток большого селения. При виде нас со всех концов сбежались мужчины, женщины, дети. Послышались возгласы:

— Аллаберды-бай привез себе еще одну невесту!

— Сказать — не сглазить: красивая девушка!

Приветствуя меня, женщины клали мне на плечи руки, заглядывали в лицо, а я и не думала закрываться. Мне не было до них никакого дела. Я словно издалека слышала, как некоторые, желая угодить баю, кланялись ему, приговаривая:

— Аллаберды-ага, поздравляем тебя с новой невестой. Красавица!

Бай готов был лопнуть от гордости. Он самодовольно улыбался, покручивая усы.

— Спасибо. Плохих я не беру...

Две женщины из байского дома принесли шелковый халат и набросили его мне на голову, затем отвели меня в комнату и усадили на ковер. Вокруг меня суетились и разговаривали люди, а я сидела, не поворачивая голо-

вы. Девушки садились передо мной, смотрели на меня с сожалением.

То и дело слышался голос бая:

— Режьте барана! Зовите ишана! Живее поворачивайтесь, целую неделю не ели, что ли, бездельники!

Видно, кое-кто собирался повеселиться на моей свадьбе, а для меня она была горе горькое! Мне казалось, что и за десятки километров я ясно слышу, как плачут мои осиротевшие дети. К счастью, в доме бая были и другие люди, такие же горемычные, как и я. Ко мне подошла тихая, робкая женщина, положила мне на плечи руки, проговорила из-под яшмака¹⁾:

— Бедняжка, видно, и ты бросила своих детей, как бездомных кутят?..

От этих слов, прозвучавших словно из могилы, у меня еще больше защемило сердце. Я залилась слезами. Эта несчастная женщина была второй женой бая. Мне предстояло стать его третьей женой. Жалкий вид был у байской жены: худое ее тело прикрывало истрепанное платье, на голове висел дырявый платок; исколотые, все в занозах, руки и ноги ее, должно быть, сильно болели. Она только что вернулась с поля, где собирала кизяк.

Я поняла, что ее душу жгло такое же горе, как и мое, а она еще раз взглянула на меня и сказала:

— Серна моя, неужели и над тобой так зло надругалась судьба? В байской неволе мои руки превратились в кочергу, а косы в метлу. Мне надоело жить на этом свете. Больше так жить я не могу...

Она не кричала, а говорила это все тихо, но с таким отчаянием в голосе, что мне стало страшно за нее. Взгляд ее бегал по комнате, и я подумала, что она ищет банку с керосином, чтобы облить себя и поджечь, как это часто делали бедные турменки встарину.

В это время в комнату вошла полная женщина, с волосами цвета колосьев спелой пшеницы. По лицу нетрудно было догадаться, что она никогда не рожала.

¹⁾ Я ш м а к — платок, прикрепленный к головному убору, закрывавший рот. — Ред.

Положив руки на свои жирные бедра, она остановилась на пороге и зашипела на женщину, сидевшую передо мной:

— Какого дьявола расселась? Встань, чернолицая, возьми самый большой кувшин и иди водой. Вымой котлы. Не дожидайся, пока я тебя...

Моя собеседница вся сжалась от страха. Бедняжка, она была похожа в эту минуту на курицу, увидевшую над собой когти коршуна. Спрятав лицо, она, робко пробираясь вдоль стены, вышла из комнаты. Суровая женщина, наверное, старшая жена бая, — подумала я. Отвернувшись от нее, я уткнула голову в рукав халата и впервые спокойно подумала о своей участи: «Вот, Бибигозель, теперь ты увидишь то, что тебе и не мерещилось. Ты должна себя сжечь... Смерть для тебя — лучшая подруга, она избавит тебя от всех мучений». Да! Я не боялась в этот час смерти, я звала ее, искала.

Но когда вышла из комнаты первая жена бая, я взглянула через открытую дверь на солнце и решила: «Нет, если я сама сгорю, то не сожгу бая. Он будет смеяться над моей смертью. Скольких он уже погубил! А дети? Что будет с моими детьми? Даже пойманная ласточка и та ищет спасения. Неужели я беспомощнее крохотной ласточки? Надо избавиться от проклятого бая, а если он станет на пути, — убить его...»

До самого вечера я думала об этом, голова моя стала тяжелой, как кувшин. А во дворе, не умолкая, горланил бай. Веранда наполнялась людьми. Возле нее в огромных котлах варилось мясо. Меня ни на минуту не оставляли одну: то приходили девушки, то родственницы бая.

— Может быть, ты хочешь выйти во двор? — спросила одна из них.

Я подумала и согласилась. Девушки вывели меня из комнаты, мы завернули за кибитку, вышли в поле, засеянное джугарой и травами. Солнце уже заходило, наступал вечер. Мы уходили все дальше и дальше от дома бая. Девушки обрадовались, что за ними никто не смотрит, бегали вокруг меня, громко хохотали. А я не переставала думать о детях. Они, должно быть, в это время жадно смотрели на дорогу, шептали, поджидая меня обратно: «Почему же так долго нет мамы? Скажа-

ла придет, а сама не идет!» Перед глазами у меня стояли их заплаканные лица. Разве могли они в эту ночь заснуть без меня?

Далеко ушли мы от селения. Солнце уже спряталось, начинала сгущаться тьма. Из пустыни подул ветер, сначала тихо, еле шевеля траву, потом все сильнее, поднимая в воздух песок и колючку.

— Гельнедже!¹⁾ — слышала я за собой испуганные голоса девушек. — Гельнедже, не уходи далеко, буря поднимается. А-у-у!..

А мне только того и надо было! Я молила бога, чтобы поднялся ураган, такой ураган, чтобы в двух шагах нельзя было различить человека.

— Гельнедже-е! — звали меня девушки. — Вернись!..

От поднявшейся бури стало еще темнее, и поэтому хотя голоса девушек еще были слышны, сами девушки уже скрылись из вида. Завыл ветер, песок больно хлестал по лицу. Я окончательно решила бежать. Найти дорогу в свой аул было трудно, — я это знала, и все же решила переждать бурю в степи. Сняла башмаки и побежала к густым зарослям.

...Длинный рассказ утомил Бибигозель, к тому же она не просто рассказывала о прошлом, а заново переживала то, что с ней произошло в тот страшный день. Но все же она замолкла только на минутку: девушки опять начали ее теребить.

— Что же было дальше, неужели бай поймал бедняжку?

— Ах, какие вы нетерпеливые, — отозвалась старуха. — Рассказывать об этом и то страшно, а пережить — не приведи бог! Да уж доскажу, коли начала. — Она облизала кончиком языка пересохшие губы и продолжала:

— Лежала я под кучей хвороста и, как затравленная волчица, слушала, не ищут ли меня. Ветер понемногу стих, пошел дождь. Промокла я до последней нитки, но об этом не думала, — лишь бы убежать подальше от этих мест! Я слышала, как девушки, не докричавшись меня, пошли домой. Прошло еще немного

¹⁾ Г е л ь н е д ж е — так называют дети жену старшего брата.

времени, и я услышала мужские голоса. Чуть-чуть повернув голову, я увидела из своего укрытия мелькавшие огни. Это Аллаберды-бай выслал в погоню за мной целую ораву своих работников. Все они были с фонарями, у некоторых в руках виднелись ружья. Кровь будто остановилась в моих жилах, и я почувствовала, как крупный озноб потряс мое тело. Ну, думаю, пропала моя бедная головушка, пристрелит меня бай на месте! Я ясно видела, как рассвирепевший Аллаберды-бай рыскал по полю с двумя фонарями и кричал на своих людей:

— Ищите лучше. Не найдете — заporю вас всех до смерти!

— Наверное, она в свое село убежала, — робко возразил ему кто-то. — Надо туда ехать.

— Куда она убежит в такую бурю! — ревел бай. — Ищите!

Он несколько раз проходил совсем рядом, а один раз чуть-чуть не наступил на меня.

— Все равно поймаю, в землю живьем закопаю! — слышала я над головой проклятья своего владыки. Но, видно, изменило Аллаберды-баю его собачье чутье: так и не нашли они меня в ту ночь.

— Вот хорошо! — не удержавшись, перебила старуху одна из девушек. Другие захлопали в ладоши.

— Подождите радоваться, сороки! — остановила их Бибигозель. — Впереди еще много было мытарств. Да, как только ушли люди, я высунула голову из бурьяна посмотрела туда, сюда. Никого нет! Только луна смотрела на меня сквозь лохмотья туч, грустная, одинокая, как я, горемычная. Выждала я еще немного, потом накинула мокрый халат, схватила подмышку башмаки, зажала зубами подол платья, чтобы не болтался, и побежала что было мочи в свой аул, к детям. И даже тогда, когда я еще бежала по земле бая, мне уже чудилось, что я дома, обнимаю своих милых деток. Но вдруг меня как будто по голове обухом топора огрели: я даже остановилась и упала на землю. Куда же я бегу?! Ведь и дома я не найду приюта... Опять приедет бай, схватит меня, увезет, начнет истязать. Эта мысль лишила меня послед-

них сил. Не помню, сколько времени лежала я одна в степи глухой ночью, слыша в отдалении вой шакалов.

Подумала я и о своих братьях, ведь у меня было семь братьев в родном ауле! Не найду ли я у них защиту?! Тому, который меня продал, я не смела показываться на глаза — это-то я знала! — но были братья и кроме него. Больше всех любил меня старший брат Атакули. Он был сильный и смелый, умел постоять за себя в драке. К нему я и решила идти, молить о помощи.

Было далеко за полночь, когда я добралась до окраины аула и постучалась в кибитку Атакули. Меня встретила его жена.

— Вах, это ты, Бибигозель? — всплеснула она руками, увидев меня в таком страшном виде.

Я не могла выговорить ни слова, ноги у меня подкашивались.

— Пи-ить... — простонала я, опускаясь возле порога. — Закрой дверь, потуши свет...

— Откуда ты? — зашептала перепуганная женщина. — Мы слышали, что тебя продали и увезли.

— Убежала...

— На плохом месте застал тебя буран!

Жена брата приняла меня радушно, накормила, напоила чаем. Проснулся Атакули. Он поднял голову, подложив под локоть подушку, посмотрел на меня и поздоровался. Услышав его голос, я разрыдалась. Когда рассказала ему о том, как меня продали и как я убежала от бая, брат сжал кулаки и сказал:

— Не бойся. Хотя бай, как говорит пословица, и может за один присест съесть человека, я постою за тебя. Волка с овцой не сосватаешь, а сосватаешь — овце смерть. Не быть тебе женой бая!

Как мне было не верить такому сильному и смелому человеку, как старший брат! Я сразу почувствовала опору, как будто к огромной горе прислонилась.

— Дай тебе бог доброго здоровья, — сказала я ему, задыхаясь от счастья. — Пусть бай заберет мой дом и все, что в нем есть, отдам ему последнюю телку, пусть и ее заберет, только бы не жить мне в неволе.

— Иди к детям, — сказал Атакули. — Аллабердыбай теперь со мной будет иметь дело.

— Как же мне одной-то итти? — снова перепугалась я.

— Ладно, идем вместе.

Было уже утро, когда мы с Атакули вышли на улицу. Брат шел смело, как настоящий боец, а у меня от испуга едва передвигались ноги. Да и как было мне не бояться: еще издали я заметила возле своего дома трех всадников, а среди них Аллаберды-бая. Приезжие, должно быть, расспрашивали про меня свекра. Только мы вышли из-за угла, как свекор указал в нашу сторону рукой. Бай припори́л коня и выехал нам навстречу.

— С-салам алейкум! — поздоровался он с Атакули.

— Аллаберды-бай, что это вы так рано пожаловали к нам? Разве что-нибудь случилось? — притворился Атакули.

— Невеста у меня сбежала, — отрывисто ответил бай и засмеялся. — Но, кажется, теперь нашлась...

Я спряталась за спину Атакули и боялась открыть лицо.

— Нет, если ты говоришь о Бибигозель, то ее ты не получишь, так и знай! — решительно ответил Атакули. Я чувствовала, как он при этом весь затрясся от негодования.

Ответ Атакули ошеломил бая. Лицо его медленно заливалось краской. Видно было, что он с трудом удерживается от бешеной ругани.

— Это почему же? — спросил он тихо, почти не разжимая губ.

— А ты не спрашивай, убирайся-ка лучше своей дорогой! Подобру говорю... — брат сказал эти слова тоже тихо и сдержанно, однако все тело его напрягалось, как перед борьбой, а руки непроизвольно сжимались в кулаки.

Лица Аллаберды-бая я не видела в эту минуту, но чувствовала, что он весь кипит от злобы, как цепной пес.

— Значит он, Атакули, в мои дела вздумал ввязываться?! — спросил он задыхаясь. — Запомни же этот день. Он для тебя рано или поздно плохо кончится. Слышишь, Атакули-хан? — Постепенно бай терял власть над собой, и голос его то и дело срывался на резкий, пронзительный визг. — Или уйди с моей дороги и отдай то, что я купил, или — горе тебе! — закричал он.

— Хочешь драться? Тогда выезжай в поле! — опять спокойно проговорил Атакули.

Но Аллаберды-бай не хотел драться с таким силачом, как Атакули.

— Берегись, ты ответишь мне за все! — крикнул он и хлестнул лошадь. Как ветер, промчались мимо нас всадники, едва не сбив меня с ног.

— Кровопийца! — бросил Атакули баю вдогонку. Потом он повернулся ко мне. — Иди к своим детям! — сказал он ласково, и глаза его улыбнулись.

Не помня себя от радости, я побежала домой. Дети, словно ягнята, спали на полу, забившись в угол комнаты. Без меня они так плакали, что лица их опухли от слез. Я растормошила малышей, прижала их к груди и поклялась умереть, но никогда больше не расставаться с ними.

И, наверно, умерла бы, как погибли другие беззащитные женщины, к счастью, все это произошло перед самым приходом советской власти в наши места. Советская власть не дала больше меня в обиду, она позаботилась и обо мне и о моих детях. Вы знаете, что все они выросли хорошими людьми.

Бибигозель снова умолкла. Рассказ был кончен, но девушки долго сидели молча, все еще не веря тому, что они услышали от старухи.

Веселая раздольная песня донеслась в эту минуту к ним из аула. На лице старой Бибигозель появилась тихая материнская улыбка.

— Счастливые!.. — ласково сказала она, глядя на окружавшие ее со всех сторон молодые лица.

ССОРА

Когда свечерело, Гельды и Огультач вернулись домой с колхозного поля. Гельды зашел в дом, бросил в угол лопату и снова вышел во двор. Постоял немного посреди двора подбоченясь — мужчина он высокий, ладный, широкоплечий — и кликнул своего восьмилетнего сына.

— Муратгельды! Присмотри-ка за скотиной!

С этими словами Гельды вышел за ворота и зашагал куда-то по улице.

А Огультач только глянула мужу вслед, покачала головой и, засгучив рукава, принялась за работу по хозяйству. Огультач мужу ни в чем не уступит, она женщина красивая, статная, ловкая, веселая, на работу спорая, и когда иной раз идут они с Гельды по улице — не пара, а загляденье! Да вот — обидно сказать — начались у них последнее время между собой нелады.

Когда Гельды ушел, Огультач взяла топор и стала рубить саксаул для печки, не без досады приговаривая про себя:

— Ступай, ступай!.. Гуляй себе на здоровье. Стахановец! И как это председатель не понимает, что такие люди, как мой муженек, чем больше их хвалят, тем больше они дуреют и спесью наливаются. Скоро мой Гельды так нос задерет, что землю под ногами видеть перестанет.

Работая, Огультач с завистью видела, как соседи, вернувшись с поля, дружно принялись вместе со своими женами за домашние дела, и ее еще больше разбирала

досада. Кто загонял корову в хлев, шлепая ее ладонью по боку, кто бежал за брыкливым теленком, кто нес дрова, чтобы разжечь тамдыр. А толстый Атакули подбежал к ослу, который, подобравшись к кормушке, ел приготовленный для овец корм. Атакули стукнул осла кулаком и стал отгонять прочь, но тот только покрутил хвостом и — ни с места. Тогда Атакули обошел осла с другого бока и снова бросился на него с кулаками, да сам не устоял на ногах и упал. Шапка его покатилась по земле, словно арбуз. Осел посмотрел на хозяина, приподнял уши и заревел. Все, наблюдавшие эту сцену, помирали со смеху, а Вепа, который уже взвалил себе на плечи мешок с саманом, так трясся от хохота, что никак не мог пройти в дверь хлева.

Огультач нарубила дров, растопила печку и, наполнив водой чайник, поставила его на огонь. Потом развернула сачак¹⁾, там лежали две большие, еще непеченые лепешки.

«На сегодня хватит, не буду печь свежего хлеба», — решила Огультач, взяла ведро и пошла доить корову. Ей предстояло еще и в доме прибрать, и воды принести, и скотину накормить, и белье постирать, и двор подмести. Было от чего притти в раздражение.

Каждый вечер, придя с работы, вертелась она, как мельничный жернов. А муж и знать ничего не хотел о том, как трудно приходится его Огультач.

Приготовив ужин и заварив чай, Огультач умылась и вышла во двор.

— Муратгельды! — крикнула она сына. — Пойди, сынок, поищи отца. Скажи, чтоб шел ужинать.

Муратгельды вприпрыжку побежал разыскивать отца, а Огультач вернулась в дом, встревоженно ворча про себя: «Еще, чего доброго, из-за него на занятия опоздаю».

Но Муратгельды скоро прибежал обратно:

— Ата²⁾ идет!

А за ним появился и сам Гельды.

Должен вам сказать, что Гельды вовсе не был лентяем. Отнюдь нет. На любой колхозной работе, будь то

¹⁾ С а ч а к — скатерть, в которой держат хлеб.

²⁾ А т а — отец.

сбор хлопка или полив виноградников, он был не хуже других. В труде Гельды был неутомим и напорист и свое звание стахановца получил не даром. А вот домашней работы Гельды не любил. Заниматься делами по хозяйству он считал ниже своего достоинства. Для исполнения этой незамысловатой, скучной и никем никогда не отмечаемой работы, по его мнению, и существовали на свете женщины. А на женщин Гельды придерживался взглядов, установленных шариатом. Оно и не удивительно, если вспомнить, что Гельды был неграмотен. Как ни стыдили его, как ни уговаривали, ничего не помогало: учиться грамоте он отказывался решительно и упорно.

— Неужто тебе самому не совестно, Гельды? — говорили ему колхозники — Носишь звание передовика, а неграмотный, газеты прочитать не можешь Позор это? Ступай, учись!

— Не стану. Лучше давайте я еще один участок перекопаю, день и ночь лопатой ворочать буду, а учиться не могу. Не под силу мне.

— Да что ты вздор мелешь! Вон посмотри: Атакули, уж на что ленивый, неповоротливый, толстый, как мешок с сеном, в работе ему до тебя дотянуться — все равно что до неба, а ведь выучился же грамоте. Теперь газету читает, знает, что на свете делается.

— Врет он все. Ничего он не знает, — говорил Гельды.

— То есть как это врет? Видишь — читает газету.

— Притворство это. Газету для отвода глаз в руках держит. А сам, небось, с чужих слов вызубрил все да и повторяет.

После таких нелепых слов даже Керим-ага махнул на Гельды рукой и отступился от него с досадой.

А ненависть к ученью зародилась у Гельды еще с юности. Целых три года ходил он тогда в мектеб. Научиться — ничему не научился, но охоту к учению потерял раз и навсегда.

Как-то в минуту откровенности Гельды рассказал об этих своих занятиях и в таких загадочных словах:

— Учился я, учился, дошел до таберека. Таберек меньше середины эптега. Первый год учил буквы, до-

шел до эбджета. Второй год начал с кулауза, дошел до начала эптега. На третий год дошел до таберека¹⁾).

Можно ли было в этом что-нибудь понять? Нет, конечно.

Да и сам бедняга Гельды ровным счетом ничего не понимал в этой тарабарщине. Не понимал потому, что ничего путного извлечь из нее нельзя было.

Теперь нетрудно себе представить, как взбеленился Гельды, когда его жена Огультач стала учиться грамоте, поступила в школу для взрослых. Этого он ей простить не мог. Легко ли было Гельды терпеть, когда колхозники подтрунивали над ним, что вот, мол, Гельды, жена-то тебя за пояс заткнула. Не оттого ли у них и разлад в доме пошел?

Стал Гельды от этого сумрачный, злой, стал на жену покрикивать.

В тот вечер, когда Гельды пришел домой, Огультач подала ему миску жирной каурмы, положила перед ним хлеб, завернутый в сачак, и сказала:

— Ты теперь, Гельды, как с работы придешь, исчезаешь из дома быстрее молнии. Совсем ты к дому остыл. А не мешало бы тебе кое-чем мне и в хозяйстве помогать.

Гельды насупился.

— Ну, ну, ты мне проповедей не читай. Домашние дела меня не касаются. Это твоя забота. Для такой работы женщины есть...

У Огультач вертелся на языке бойкий ответ, но она сдержалась. Провела жирными от каурмы пальцами по своим густым черным волосам, чтобы они лучше блестели, и сказала спокойно:

— Я тебя насильно работать не заставляю. Не хочешь — не помогай, твое дело. По мне, ты бы только во время пил и ел, чтобы я на уроки не опаздывала.

Гельды покосился на жену, но ничего не сказал: как видно, не придумал еще хорошего ответа. Переобулся, кликнул сынишку, чтобы он полил ему на руки, и, уже умываясь, вдруг выпалил:

¹⁾ Та берек, эптег, эбджет, кулауз — ступени начального обучения в старинной мусульманской школе — мектебе.

— Дворовый пес, как ни бегай, гончей не станет, а женщина, учась — кази¹⁾ не станет. Слыхала пословицу?

— А мы не больше мечтаем стать кази, чем гончими собаками, — усмехаясь, отвечала ему Огультач. — На что нам это? Мы только не хотим, по примеру других, пачкая палец в саже, спрашивать: куда ляпнуть? — когда понадобится поставить свою подпись. Мы возьмем в руки карандаш и распишемся как следует.

Муратгельды понравились слова матери, и он громко расхохотался.

От этого смеха Гельды разъярился еще больше и, вытирая руки о полу халата, прикрикнул на сына:

— А ты чего смеешься, дуралей?

— Муратгельды, подай отцу полотенце, мне не так-то легко стирать его халат, — сказала Огультач, сдвинув брови.

Муратгельды принес полотенце, но Гельды с яростью отбросил его в сторону и, скрестив ноги, уселся на кошму. Он развернул сачак, вынул лепешку и, выпучив глаза, уставился на Огультач.

— Почему ты нынче не испекла лепешек?

— А это чем не лепешка? На сегодня хватит.

— Пусть скотина ест твои черствые лепешки, — сказал Гельды и швырнул лепешку на кошму.

— А ты, Гельды, если любишь есть горячие лепешки, нарубил бы дров, принес воды, печь затопил. У меня ведь тоже только две руки, на все нехватает.

— Эй ты, безумная жена! — грозно сказал Гельди: — Заруби себе на носу: мне не гоже возиться с домашними делами. Не мужское это занятие.

— Дров нарубить, скотину накормить — очень даже мужское дело, — не унималась Огультач. — Почему же никто из соседей этими делами не брезгует?

— Не бывать тому, чтобы я стал женой своей жены, как эти дурни-соседи! — важно заявил Гельды. — Ты хоть лопни, а этого не будет. Бог так устроил, что домашними делами должна заниматься женщина.

— Что ж я, осла у бога украдала, что ли, что он повелел мне работать, а тебе гулять? Я такого закона не

¹⁾ К а з и — религиозный судья, здесь в смысле ученого.

признаю. Мы теперь живем по сталинскому закону, в котором сказано, что и у женщин и у мужчин — одинаковые права. Я такая же колхозница, как ты, а ты хочешь из меня батрачку сделать.

— Нет, совсем не такая же. Я ударник! Поди-ка, потягайся со мной! — крикнул Гельды, выпятив грудь.

— Да, на колхозном поле ты ударник, а дома — хан, а на язык — болтун, а на работе по хозяйству — лентяй! — И, выпалив эти слова, Огультач вскочила и стала собирать свои тетради и книги.

Получив такую характеристику, вконец разъяренный Гельды поднял с полу башмак и замахнулся им на жену, но Огультач схватила мужа за руку и сказала, пристально глядя ему в глаза:

— Уймись, Гельды, не то худо будет. До сего времени я слишком тебя баловала. А теперь буду заботиться о тебе так же, как ты обо мне. Я вижу, ты меня не уважаешь, но и мне тебя уважать не за что.

С этими словами Огультач взяла свои книги и тетради и пошла к двери. Гельды как-то сразу обмяк, башмак выронил, отошел и лег на свою постель, что-то невнятно ворча себе под нос.

С того дня окончательно нарушилась мирная жизнь в семействе Гельды и Огультач. Гельды попрежнему ни в чем не помогал жене, а когда через несколько дней его назначили бригадиром, заважничал еще того пуще. Теперь уж, как говорится, он не мог от гордости вместиться в свой собственный халат и даже перед другими колхозниками начал задирать нос, а порой и покрывать на членов своей бригады. Назначая Гельды бригадиром, председатель колхоза обязал его учиться грамоте, и Гельды дал ему слово пойти в школу для взрослых, но слова не сдержал и в ответ на все упреки Керим-ага только сосредоточенно надувал свои толстые щеки.

Дома Гельды придирался к жене по всякому поводу, а то и просто без повода, и ссоры теперь пошли между ними, почитай что, каждый день. В конце концов Гельды

стал уже, нет-нет, да и о разводе поговаривать. Но Огультач совсем не хотела разводиться со своим Гельды. Она все еще любила этого несурзного человека и рассуждала так: «Был Гельды хорош, стал плох. Ну, разведусь я с ним, а дальше что? За другого замуж выходить? А если тот тоже сначала будет хорош, а потом плох? Тогда как? За третьего? Этак, пожалуй, пока выберешь хорошего мужа, сама станешь плохой. Нет, надо другого добиваться — чтобы Гельды снова хорошим стал».

А в то, что Гельды станет опять хорошим, она верила свято.

Но Гельды повернул все по-своему.

Как-то раз на одном из колхозных собраний взяли колхозники нашего бахвала в рабсту за его пустое зазнайство да за то, что он только посулился грамоте выучиться, а сам ни разу даже в школе не побывал. У нас в колхозе народ зубастый, иным на язык лучше не попадаться. А уж в особенности женщины — так обрабатывают, только держись! И пристыдили они Гельды, и высмеяли, ушел он с собрания красный, как свекла. А больше всего обозлило Гельды то, что ему опять жену в пример поставили. «Вот вредная баба! — думал Гельды. — Если бы не она, был бы я всю жизнь у колхозников в чести. Ведь лучше меня никто работать не умеет. А теперь из-за нее меня поносят. И далась же ей эта грамота!»

Пришел он домой злой и хмурый, лицо как ненастное небо, и накинулся на жену: и то у нее не так, и это не так. Ворчал, ворчал... Огультач сначала отшутиться пробовала, но Гельды все не унимался, и она примолкла. Огультач видела, что муж не в себе, и ей стало его жалко.

Вдруг Гельды говорит:

— Ты почему, дрянная женщина, с Мурат-Ходжа у арыка стояла? Почему он тебя за руку держал? Ты думаешь, я не видел, как ты меня на все село позоришь?

А Мурат-Ходжа был у нас в ауле самый что ни на есть ничтожный человек: болтун, лентяй, бездельник да вдобавок еще и курильщик анаши. И женщинам от него и вправду прохода не было, потому, верно, что не знал он, куда свой досуг девать. Его хлебом не корми, дай только языком почесать с какой-нибудь молодницей.

— За руку он меня не держал, — спокойно отвечала

мужу Огультач. — Спросил только, не нужно ли мне дров наколоть. А я его поблагодарила да пошла.

Но тут лицо Гельды совсем потемнело, как туча.

— Какой помощник выискался! А я говорю, что ты врешь. Весь аул видел, как он тебя за руку брал. Мне такая жена не нужна. Не желаю, чтобы на меня все пальцами показывали. Развожусь с тобой, живи одна. Собирай мои вещи, ухожу! Лопнуло мое терпение!

Попробовала было Огультач его урезонить — да куда там! Еще пуще разбушевался. Тогда Огультач сказала:

— Хорошо, уходи. Только уж назад не возвращайся. А из вещей, пожалуйста, бери, что хочешь. Может быть, ты уже себе другую жену нашел, и вы будете домом обзаводиться, так вам на первых порах много вещей понадобится.

Не знаю уж, что почувствовал Гельды при этих словах, только буркнул он, отворотясь, чтобы не глядеть в глаза Огультач:

— Не надо мне никаких вещей, одежду только. И сына я возьму с собой. — Верно, не ждал он такого оборота, а может, и пожалел о своей горячности, да переломить себя уже не мог.

— Вот об этом и не мечтай, — сказала Огультач, — ты себя еще воспитать не сумел, где же тебе сына воспитывать! Нет, Гельды, ты это из головы выкинь. Мальчик останется со мной.

— Разве тебя переспоришь? Забирай себе все, забирай и сына! — всердцах сказал Гельды и ушел из дома.

Миновала неделя, потом другая. Сначала Огультач еще надеялась, что Гельды одумается и вернется домой. Потом поняла — ждать больше нечего. Но она не пала духом. Не такой у нее был нрав. Огультач сумела взять себя в руки. У этой женщины была большая выдержка и крепкая воля. В нашей дружной советской семье человек не может быть одинок, и Огультач это поняла и почувствовала всем сердцем.

Быть может, воспоминания и мучили порой Огультач, когда, покончив с делами по дому и уложив спать сынишку, сидела она в глубокой задумчивости, поставив локти на стол, уткнув подбородок в ладони и, казалось,

забыв про разложенные перед ней книги и тетради. Быть может, так оно и было — нам это не известно.

Зато все видели и наблюдали другое: как деятельно и неутомимо достигала Огультач все новых и новых успехов в работе, как опередила она мало-помалу всех своих товарищей и товарок по школе. Ни одно событие в колхозной жизни не проходило мимо Огультач: она горячо откликалась на все большие и малые радости и беды своей колхозной семьи. И старый Меред-ага не раз говорил, что Огультач — его правая рука и главная опора во всех делах.

Вскоре колхозники единогласно избрали Огультач членом правления колхоза. Особенно большую и плодотворную работу провела она среди женщин и детей. Немало пожилых колхозниц, не имевших в свое время возможности овладеть грамотой, благодарили Огультач за то, что она помогла им научиться читать-писать. И если у нас теперь почти в каждой бригаде — ясли, то в этом тоже немалая заслуга Огультач, одной из лучших активисток аулсовета.

Так текла хлопотливая, деятельная жизнь Огультач, не оставляя ей времени грустить и предаваться печальным думам. И поэтому Огультач не чувствовала себя одинокой и несчастной.

Приближалось время выборов в Верховный Совет Туркменистана, и никому не показалось странным, когда в колхозе заговорили о том, чтобы выдвинуть депутатом Огультач.

А вот что и в самом деле могло на первый взгляд показаться удивительным, так это волшебная переменна, происшедшая вдруг с Гельды. Надо сказать, что когда Гельды ушел от Огультач, этот поступок поразил колхозников и был встречен ими с большим неодобрением.

«Вот дурной парень! — говорили про него люди. — Бросил такую жену, как Огультач! Видать, он последнего ума лишился». Огультач всегда считалась у нас очень достойной женщиной. Когда же, оставшись одна, она не пала духом, а еще ревностней взялась за работу и ученье и стала так умно и красиво строить свою жизнь, все отзывались о ней с неизменным уважением, и Гель-

ды не мог не видеть, каким почетом пользуется Огультач в ауле.

«Это настоящий человек,—говорили в ауле про Огультач.—Верная дочь своего народа. Она единой жизнью и интересами со всем народом живет!»

Вот тут-то и удивил всех Гельды. Одним погожим весенним днем предстал он перед Чары, нашим учителем в школе для взрослых, и объявил ему о своем намерении взяться за учение.

— Я теперь должен выучиться грамоте, хоть умри. Должен стать не хуже других, чтобы ни перед кем стыдно не было, — сказал Гельды.

Как-то раз в теплых весенних сумерках Огультач вернулась домой и, пораженная, остановилась посреди двора. Двор был чисто-начисто выметен, и на веранде перед домом на разостланной кошке стояли рядом два чайника и две пиалы.

«Что за чудо!» — подумала Огультач. В чайниках оказался горячий, только что заваренный чай. В доме весело потрескивала растопленная печь, а на полу около печи лежал нарубленный саксаул. Огультач прошла в хлев. Там ее тоже ожидала приятная неожиданность: хлев был вычищен, овцам засыпан корм.

Огультач молча покачала головой. «Точно в сказке!» — пронеслось у нее в уме.

Огультач вышла из хлева во двор и заметила выглядывавшего из-за дома Муратгельды, который с каким-то взволнованным любопытством смотрел на мать.

— Сынок! — позвала его Огультач. — Кто это у нас здесь был?

Муратгельды помолчал, переступил с ноги на ногу и вдруг радостно и звонко выпалил:

— Ата!

Огультач услышала частые и гулкие удары своего сердца. Ни о чем больше не спросив, она повернулась и вошла в дом.

Прошло еще несколько дней. Как-то вечером, когда Муратгельды уже спал, набегавшись за день, а Огультач за столом читала книгу, отворилась дверь, и на поро-

ге возникла высокая фигура Гельды.

Огультач обернулась на скрип двери, вскочила и, держась рукой за спинку стула, молча уставилась на мужа.

Гельды тоже молчал и не двигался с места. В конце концов Огультач сказала:

— Входи. — Голос ее показался ей чужим.

— Прости меня, Огультач, — просто сказал Гельды. — Я понимаю, что был неправ. Нужно жить по-новому, а не по-старинке. Я вижу, что такая женщина, как ты, ни одному мужчине ни в чем не уступит. И дурак я был, что перед тобой нос задираю. Да очень уж крепко во мне все это старье засело. Прости меня, Огультач, если можешь.

Гельды стоял, опустив голову, его большие сильные руки беспомощно висели вдоль туловища.

Огультач тихо молвила:

— Я все та же, Гельды. И этот дом — твой дом. Они взглянули друг на друга и улыбнулись.

ХАН-ЛЕЖЕБОКА

Хан-лежебока был невысок, толстоват и — что не часто встречается среди туркмен — голубоглаз. Волосы у него были рыжеватые, борода клинышком. Ходил он в старом пиджаке и ватных брюках, обувался в стоптанные чокон, а на голове носил барашковую сплюсненную, как чурек, шапку. Походка у Хана была неторопливая, вразвалку, на ходу он лениво шаркал ногами. Нередко нападала на него такая сонливость, что хоть греми ведром над ухом — не спросит даже: «Что это за шум?» Если сегодня у Хана был кусок хлеба, он не помышлял о завтрашнем дне. «Раз уж богу понадобилось сделать мне для чего-то глотку, — говорил он, — значит, он сам позаботится и о том, чтобы было мне что в нее кидать».

Совсем иным человеком была его жена Эджегюль. Она старалась ни в чем не отставать от других, работала не покладая рук, и все дела у нее спорились как дома, так и в колхозе. Эджегюль любила опрятно одеться, следила, чтобы в доме всегда было чисто, чтобы дети ходили в школу не оборванцами. Словом, ее ни в чем нельзя было упрекнуть. Подчас приходилось Эджегюль трудновато, но она не жаловалась.

Все было бы ничего, да совестно было Эджегюль за своего мужа. И совестно и обидно. Хан не только не работал в колхозе, он и дома ни за какое дело взяться не желал. Из всей домашней скотины держал только одного ишака. Да и этот ишак мог целый день прова-

ляться, запутавшись в привязи. Хан-лежебока даже не пошевелинется, бывало, чтобы освободить его от пут. Этот ленивый человек жил в своем доме, как гость. Все его дела сводились к тому, что он ходил на базар. Но и там он не утруждал себя торговлей, а больше промышлял разными мелкими услугами: одному поможет поторговаться, другому — отнести товар, а на те деньги, что ему дадут за эти услуги, купит, бывало, чурек и тут же съест его. А как засосет под ложечкой — тут Хан без промедления отправлялся домой. Усевшись на кошму, он строго посматривал на Эджегюль, которая хлопотала по дому, и говорил:

— А ну, жена, расстилай сачак!

Эджегюль, сдвинув брови, расстилала перед ним ска-терть, клала чурек.

— Тебе лишь бы набить живот, — говорила она. — Ты только и знаешь: «сачак, сачак», а откуда взялся в этом сачаке чурек — это тебя не касается. Куда как хорошо так жить!

На это Хан-лежебока возражал что-нибудь такое, что противно было и слушать.

— О чуреке заботишься ты, ну и ладно, — говорил он. — Хватит с нас и этого. А то, если и я начну думать о том же, так мы, чего доброго, так разбогатеет, что придется овец в пески гонять. А их надо доить, ухаживать за ними. А молоко надо кипятить, да квасить. Да сбивать масло. Еще и стричь овцу надо. Да из шерсти войлок валять. Нет, это нам не под силу. Давай уж лучше жить, как жили.

Эти разглагольствования выводили Эджегюль из себя.

— Ты, значит, больше всего на свете боишься, как бы не пришлось овец завести? — восклицала она.

— А то как же! — отвечал Хан-лежебока, запихивая чурек в рот.

Наконец Эджегюль решила хорошенько поговорить с мужем. Дело было под вечер, она сидела и ждала, когда он придет с базара. Хан пришел, снял чокои, вымыл руки и сел, ожидая, когда жена подаст сачак. Эджегюль сказала:

— Пора нам договориться с тобой. Я хочу знать: будешь ли ты в конце концов работать? Ты совсем от рук отбился.

Хан тупо рассмеялся в ответ и стал припоминать все, что он когда-нибудь сделал.

— Ладно, ладно, ты тоже не раз ела мой чурек!

— В жизни того не было, чтобы я чужими руками жар загребала. Нет, ты уж это оставь. Давай решим, как нам дальше быть.

— Вот оно что! Ну, тогда давай сюда сачак, я тебе сейчас все растолкую.

— Не дам я тебе сачак.

— А не дашь, так я на пустой желудок ни о чем говорить не стану.

Эджегюль молчала, раздумывая. «Так его не переупрямишь», — решила она и подала мужу сачак.

— Вот это дело! Ну теперь выкладывай, что ты там надумала, я тебе в два счета все растолкую, все будет ясно, как на ладони, — сказал Хан и начал уплетать чурек.

И Эджегюль выложила все, что накипело у нее на сердце.

— Почему ты не работаешь? Погляди на себя: ишь, какое пузо отрастил, хоть орехи на нем разбивай! А ручищи-то, а ножищи! Здоров как бык, ешь за троих, а работать кто за тебя будет? Ты один на весь аул слоняешься целыми днями без дела. А мог бы работать не хуже других. И не надоело тебе лежать на боку и глядеть, как я за двоих стараюсь? Взгляни на себя: на что ты похож? Тебе штаны сменить — и то лень. Ни о доме, ни о детях, ни о чем ты не заботишься. Недаром тебя прозвали лежебокой.

На это Хан-лежебока ответил только:

— Ишь ты, как разошлась! А того не видишь, что я целыми днями только и делаю, что думаю, думаю...

— Думаешь? А чтоб за работу приняться — до этого еще не додумался? Поглядел бы хоть на Агамурада. Однорукий он, да и то не завалился спать. Работает в колхозе не хуже прежнего, потому что у него есть и совесть, и честь. Он не хочет жить кое-как, хочет, чтобы жизнь была хорошей, зажиточной. А ты что? Ты не гово-

ри, что для тебя работы нет. В колхозе для каждого дело найдется.

Тут Хан прервал жену:

— Может быть, для других и есть, а для меня нет. Этот председатель колхоза со свету меня сжить готов.

— А за что ему тебя любить? Он тебя за три месяца шесть раз на работу ставил, а ты со всех работ сбежал. Он еще покладистый человек, наш башлык ¹⁾. Будь я на его месте, я бы таких лежебок, как ты, совсем вон из аула выгнала.

— А я и сам с таким башлыком никаких дел делать не стану. Я сегодня одного человека видел — он в городе директором магазина работает. Звал меня к себе ночным сторожем. Видишь, кто я теперь буду: ночной сторож! Так что ты помалкивай.

Никакого директора магазина Хан-лежебока в глаза не видел. Все это он выдумал, чтобы отвертеться как-нибудь от разговора с женой. Но для Эджегюль такие рассказы слушать было не впервой: она их наизусть знала.

— Полно вздор молоть, — сказала Эджегюль. — На что ты директору магазина нужен? Ты лучше меня послушай, я тебе худого не посоветую. Мы с тобой вместе не один год живем. Если уж ты меня за дуру считаешь, так ведь говорят, что у безумца одно слово разумное бывает.

— Ну, говори, говори, послушаем.

— Ты ни у кого работы не проси. Я тебя сама на работу поставлю. Я сейчас на хошаре²⁾ работаю. Приходи завтра, поможешь мне, мы вдвоем четыре трудодня выработаем. И никто тебе ни слова не скажет.

— Это ты, конечно, очень хорошо придумала. Да только я никак не могу: директору слово дал. Завтра к нему пойду.

— Никуда ты не пойдешь, — с горечью промолвила Эджегюль. — Ты от работы, как от заразы, бегаешь. Ну, раз уж ты не выполнил мою единственную просьбу за всю жизнь, так я не стану больше с тобой нянчиться.

1) Башлык — председатель. *Ред.*

2) Хошар — работы по очистке арыков от песка и ила. *Ред.*

Так и знай! Меня и башлык по головке не погладит за то, что я такого дармоеда кормлю. Правда, не мне одной совестно будет. И тебе попотеть придется, как возьмут тебя, голубчика, в работу.

Но вразумлять Хана-лежебоку было все равно, что читать ишаку книгу. Набив живот чуреком, Хан встал, надел на босу ногу чокои и промолвил:

— Уж ты, конечно, всегда права, — направился к выходу.

— Уходишь? Ладно, ступай себе, ступай! Завтра я тебя потащу к башлыку. Посмотрю, что ты ему скажешь.

Своим бездельем Хан восстановил против себя всех колхозников. Он уже боялся зайти к кому-нибудь в гости, старался поменьше попадаться на глаза. А если, не вытерпев, переступал чей-нибудь порог, его сразу начинали донимать вопросами.

— Бог в помощь! — говорили ему. — Небось, ты здорово притомился? Сколько трудодней заработал? Сколько пшеницы отвалил себе в правлении?

В ответ Хан-лежебока только поеживался. Ему нечего было ответить на эти вопросы, и он сидел, потупив взор, а потом молча поднимался и уходил.

Выйдя из дома после разговора с женой, Хан долго стоял, размышляя: «Ну и намолола она языком! Ей бы только укусы фаланги заговаривать! Вся голова вспухла. Пойду-ка я к Мурат-ага» — решил он, наконец, и направился в дальний конец аула.

В окнах у Мурат-ага горел огонь. Сам Мурат-ага, поджав ноги, сидел на кошме, пил чай и беседовал с женой.

— Здравствуй, Хан, заходи, садись, — приветствовал он гостя и, снова обратясь к жене, продолжал, поглаживая длинную белую бороду и искоса поглядывая на вошедшего:

— Да в своем ли ты уме, жена? Мы даже нормы сына не получили. Нам еще триста кило пшеницы дадут. — Потом повернулся к Хану-лежебоке.

— Ну, чего ж ты стоишь? Садись, садись. Что давно не заглядывал? Все трудишься, небось?

Хан сел на кошму. От слов Мурат-ага в нем сразу закипела досада, и он уже раскаивался, что пришел сюда. В растерянности он поднял с пола палку, стал вертеть ее в руках и ломать на мелкие кусочки.

Мурат-ага повторил:

— Хорошо сделал, что заглянул к нам, Хан. Ты уж давненько у нас не бывал. Все работаешь? Ну, бог в помощи!

— Да нет, я последние дни не так уж много работаю, — пробормотал Хан с досадой.

— Ну уж никогда этому не поверю! Ты целыми днями торчишь на базаре. Верно, кучу денег заработал?

— Побойся бога, Мурат-ага! Ну откуда у меня деньги?!

— Ладно, ладно, не хочешь правду сказать, так я у Эджегюль все узнаю. А я хотел было денег призанять у тебя. Да мне много не надо. Рублей двести.

— Придется тебе поискать в другом месте.

— Ну, ну, не валяй дурака!

— Да нет у меня, правду тебе говорю.

— Что ж ты тогда делаешь целыми днями на базаре?

— А ничего не делаю.

— Так попусту и слоняешься?

Хан молчал.

— Так неужто это все правда, что говорила о тебе Эджегюль? Как же ты живешь так, ничего не делая? Мы вот хоть и старики, а все без дела не сидим. Старуха моя ткёт для колхоза, сын — кучером на фургоне, невестка — на хошаре. Так и живем. Я никак в толк не возьму, как это ты, Хан, хочешь прожить сложа руки. У вась ведь четыре рта в семье. Под силу ли Эджегюль одной всех прокормить?

Хан увидел, что попал из огня да в полымя. Но сразу встать и уйти было неловко. Он сказал:

— Оставим это, Мурат-ага. Вспомним-ка лучше старое.

Но Мурат-ага, хмуро поглядев на Хана-лежебоку, сказал:

— А по мне, так это самый интересный разговор. Я на зря языком болтаю, я хочу тебя уму-разуму по-

учить. А не любо тебе мои советы слушать, так послушай одну интересную историю. Она должна прийтись тебе по вкусу.

Хан очень обрадовался, решив, что разговор перейдет, наконец, на другую тему, и воскликнул:

— Вот-вот расскажи-ка что-нибудь интересное!

— Ну что ж, послушай быль о двух лентях, — промолвил Мурат-ага и начал так...

... В стародавние времена жили-были два лентя. Целыми днями валялись они на боку, шепку с пола поднять — и то им было лень. Понемногу прожили они все, что у них было — и скотину, и домашнюю утварь, ничего не осталось. Даже кибитку, и ту продали. Наконец и жены оставили лентяев и вернулись к своим родителям. «Пусть твоя лень будет тебе женой», — сказали обе в один голос и ушли. И лентяи остались одни и жили хуже собак, вечно ходили голодные, босые, никто им куска хлеба дать не хотел. Вот стали они держать между собой совет: «Давай-ка, — говорит один лентяй другому, — бросим лень, примемся за работу. Погляди, как живут люди, которые каждый год сеют и убирают урожай. А мы чем хуже?» И когда пришла весна, взялись лентяи за дело. Прочистили арыки, взяли в долг быка, вспахали землю. Достали в долг семян, посеяли пшеницу, полили посев. Появились первые всходы, потом пшеница заколосилась. Урожай обещал быть хорошим. Когда настало время жатвы, лентяи вышли с серпами в поле. Жали день и ночь. Один жнет, другой снопы вяжет и складывает. Жатва подходила к концу, дня два оставалось поработать лентяам. И вот, когда уже перевалило за полдень, пришел один из лентяев — тот, что вязал снопы, — на гумно. Свалил он снопы со спины, и взгляд его упал на густую тень, падавшую от снопов. И тут им внезапно овладела лень. «Эх, — подумал он, — жатва идет к концу, дай-ка я малость вздремну». И он растянулся на спине в тени снопов. А второй лентяй — тот, что жал, — ждал, что его товарищ придет за снопами и, не дождавшись, бросил серп, тоже

пошел на гумно. Приходит и видит: лежит его друг на спине и храпит во всю мочь. Принялся он его будить:

— Вставай, хан! Хватит, поспал. Скоро уж и жатве конец.

Будил, будил, а тот никак не просыпается. Бормочет только спросонку:

— Ты меня сейчас не буди. На меня лень напала.

Тогда второй лентяй и говорит:

— Если осел отстанет от осла — отрежь ему уши и хвост. — И с этими словами тоже улегся в тень, положив голову на снопы.

На другой день в полдень поднялось солнце к зениту и разбудило того лентяя, который первым завалился спать накануне. Приподнялся он, сел и начал расталкивать второго лентяя:

— Чего спишь? Вставай! Работать надо!

А второй лентяй приоткрыл один глаз и говорит:

— А мне лень.

— Ну так мне и подавно лень, — сказал первый. — Мне даже лень сказать, как мне лень. — И с этими словами снова завалился спать.

Вот, мой друг Хан, и ты не лучше этих двух лентяев, — закончил свой рассказ Мурат-ага и поглядел на гостя. Хан сидел, насупившись, и в замешательстве щипал войлок.

— Э, да ты раздергал нам всю кошму! — воскликнул Мурат-ага.

Хан поспешно отбросил кошму и спросил:

— Ну, а потом что с этими лентяями было? Долго ли они спали?

— Да так все и спали. Пришла зима, хлеб сгнил на гумне. И все их труды пропали даром. Не зря в народе говорят, что сильный держит жизнь в руках, а работающий — хлеб в рот. Ты парень дюжий, заработал бы себе побольше трудовней и жил бы припеваючи.

— Лално, поглядим, — ответил Хан-лежебока и, попрощавшись с хозяевами, направился к двери.

— Возьмись за ум, а не то у нас с тобой дружба врозь, — крикнул ему вдогонку Мурат-ага.

Куда бы ни пошел Хан-лежебока, везде его донимали колхозники. Не было ему покоя.

Как-то раз ввечеру собрались люди у колхозного правления и вели между собой беседу, а Хану довелось в это время проходить мимо. Идет он, как всегда, еле волоча ноги, а один из колхозников увидел его и крикнул:

— Эй, Хан-лежебока, иди сюда!

— А зачем?

— Мы надумали дать тебе еще одно имя. Говорю иди сюда — значит, иди.

Хан-лежебока, шаркая чокоями, нехотя подошел поближе. А подозвавший его сказал, обращаясь к остальным:

— Думается мне, пора снять с него это прозвище. Раньше он все-таки нет-нет да работал. А теперь он, видно, совсем с работой распростился. Значит, теперь ему и имя другое носить подобает.

— Зачем? — говорил другой колхозник. — Хан-лежебока — лучше для него не придумаешь.

— Да вы что? — вмешался третий. — Совсем его совета сжить хотите, что ли? Если мы не перестанем звать его лежебокой, он так и будет все время лежать на боку, даже чурек в рот положить поленится, так с голоду и помрет.

— Стойте! Я надумал. Назовем его Хан-баба.

— Ну уж и надумал! Это для наших женщин обилно будет. Они у нас все хорошо работают. Взять хоть Эджегюль: одна всю семью содержит и в колхозе ударница. У нас таких баб, как Хан-лежебока, и в помине нет.

При этих словах Хан изменился в лице.

— Ну, нашли себе посмешище, — сказал он и двинулся было прочь, но колхозники закричали:

— Нет, ты постой, мы еще не решили, как теперь тебя будем величать.

А один колхозник к Хану подошел вплотную и воскликнул:

— Я нашел ему прозвище! Назовем его Хан-шустрый, может быть, это его хоть немного подстегнет.

— Неплохая мысль! Только ведь этак у нас кличут ишаков...

— Вот и хорошо. Ему, по крайней мере, стыдно будет отставать от этих трудолюбивых животных.

— Нет, я лучше придумал: назовемте его Хан-ре-тивный. То-то начнет из кожи лезть!

А Хан слушал все эти насмешки, ковырял носком чокоя землю и думал: «И дернула ж меня нелегкая пройти мимо них!»

Один из колхозников сказал:

— Ну, что вы привязались к Хану? Бывает ведь, что в курятнике заведется никудышный петух.

— Ну уж такому петуху, на которого даже его собственная курица жалуется, место только в супе. Другой человек на месте Хана со стыда сгорел бы.

— Да, другого совесть бы замучила, он бы себе места не нашел. Залез бы на крышу сарая и — прямо вниз головой оттуда...

— Ну уж, Хан-лежебока, если надумает с крыши броситься, сначала теленка подставит, чтобы мягче было падать.

— Вот была бы умора! Теленок скачет, здоров хвост, а Хан на нем верхом. Хотел бы я поглядеть на такую картину!

— Да что он, дурак, что ли, теленок-то? Такого лентя на спине возить! Нет уж, лежебока бегаёт, а теленок на нем верхом ездит. Этак больше толку будет.

Колхозники смеялись. Хан насупился и от досады стал красным, как рак в кипятке. Повернувшись спиной к колхозникам, он поплелся к своей кибитке, а смех и задорные восклицания неслись ему вслед.

И вот как-то вечером председатель колхоза призвал к себе Хана и взял его, как говорится, в оборот. Сперва он побеседовал с лежебокой о том, о сем, а потом сказал:

— Ну, Хан, что ты подельывал эти дни?

— Да так, ничего особенного.

— Как же ты можешь шататься без дела? У тебя двое детей, перекрасных, как жемчужинки, а бегают они босиком, и одежда у них изнасилась. Скоро им в школу

ходить не в чем будет. Не стыдно ли тебе на боку валяться, пока жена работает за двоих? Или тебе кажется зазорным о собственных детях позаботиться? Да погляди вокруг себя! Ведь ты у нас один на весь колхоз такой бездельник выискался! Что с тобой такое стряслось? Подумай хорошенько, как ты живешь! Пораскинь мозгами! Говорят, ты жалуешься, будто я тебе не даю работы?

— Ну да, а разве не так? — сказал Хан-лежебока и, подняв голову, посмотрел на башлыка.

— Разве я тебе не давал работы?

— Давал, да не такую, какая мне по нраву.

— Неправду ты говоришь, Хан. Уж я ли с тобой не бился, какой только работы я тебе ни давал. Захотел быть фургонщиком — тебя поставили и на эту работу, а ты что сделал? Два дня поработал и бросил. Я тебя сторожем на току назначил — ты три дня посторожил и ушел. Погонщиком верблюдов тебя послал, а тебя через пять дней и след простыл. Ни к одной работе у тебя душа не лежит. Ты пренебрегаешь колхозной работой: «Это колхозная работа, это колхозная скотина, это колхозное добро — стану я стараться!» Что же, если так, у нас много честных колхозников, обойдемся без тебя. Ты — лентяй. Не переборешь свою лень — не видать тебе работы в колхозе. Кто не работает, тот не ест. Это сталинский закон. Это великие слова. Можешь ты их понять? Короче, если с завтрашнего дня ты не возьмешься за ум, я тебе покоя не дам. Так и знай. Я тебе это прямо говорю.

— Ладно, воля твоя, — сказал Хан-лежебока, поднялся и вышел из колхозного правления.

По дороге он так крепко задумался, что не заметил, как прошел мимо своего дома.

На другое утро Эджегюль вместе с другими колхозниками вышла на хошар. Она собиралась закончить очистку арыка на участке, отведенном ей, но с изумлением увидела, что весь он уже очищен. Арык на нее участке был прорыт даже глубже, чем у других.

— Гляньте, девушки! — воскликнула Эджегюль, обращаясь к другим колхозницам. — Кто-то уже очистил мой край! Кто же это помог мне?

В это время ее окликнул мираб:

— Эджегюль, пойди-ка сюда!

Мираб указал ей на человека, который спал, раскинувшись прямо на голой земле, прижимая к груди лопату.

— Кто это лежит, узнаешь?

— Ай, да никак это мой Хан-лежебока! — воскликнула Эджегюль и принялась будить мужа.

Оказалось, что Хан пришел на поле, едва забрезжил свет, закончил участок Эджегюль, отчистил еще один и тут же на поле завалился спать.

Когда его разбудили, Хан-лежебока вскинул лопату на плечо и сказал:

— Ну вот, мираб-ага, я пришел. Отведи мне участок.

Мираб воскликнул:

— Да ты, Хан, никак взялся за ум? — и дал ему работу.

Хан-лежебока с размаху всадил лопату в землю и, поддев огромную глыбу земли, перебросил ее через край арыка. За первой глыбой последовала вторая, — земля так и сыпалась с его лопаты: шлеп, шлеп!

С того дня Хан-лежебока взялся за колхозную работу так, что все только диву давались. И с каждым днем работа спорилась у него все лучше и лучше. С одинаковым усердием работал на очистке арыков и пахоте колхозных полей под ячмень и пшеницу.

Совсем по-иному потекла теперь жизнь Хана-лежебоки. Прежнюю вялость и лень с него как ветром сдуло. Даже походка стала иной, и взгляд не был таким сонным и угрюмым, как прежде. Он уже не чурался больше колхозников, не крался мимо них бочком, поглядывая исподлобья по сторонам и в страхе ожидая, что вот сейчас его поднимут на смех. Он перестал быть посмешищем для аула, наоборот, теперь о нем передавали такие истории, которые могли только послужить к его чести.

Так, например, рассказывали, что как-то после захода солнца Хан-лежебока пускал воду на колхозном поле, засеянном пшеницей. Быстро надвинулась ночь, и мрак так сгустился, что в двух шагах ничего не было видно, к тому же дождь полил, как из ведра. Хан вдвоем с другим колхозником запрудили арык и пустили воду на пшеницу. Вода с шумом побежала на делянки, но Хан заметил, что в одном месте запруда начала оседать. Если вода размочит запруду, вся работа пойдет прахом.

Хан сказал своему товарищу:

— Ты все брось, охраняй только эту запруду, береги ее как зеницу ока. Все время подбрасывай песок и утаптывай. Сейчас нельзя сидеть сложа руки.

— Будь спокоен, — сказал колхозник. — Я за ней пригляжу. — И он начал бросать на запруду песок и утаптывать его, а Хан пошел вверх по арыку. Дождь лил, не переставая. Струйки холодной воды стекали с шапки Хана ему на лицо и за воротник, даже халат начал на нем промокать. Осматривая арык, Хан увидел колхозного бычка. Бычок лежал у края арыка, дождь хлестал по нему что было мочи, и бычок, казалось, совсем окоченел от холода. Хан скинул свой халат и прикрыл им бычка.

Вернувшись к запруде, Хан не нашел там своего товарища.

— Ходжаберды, эй! Куда ты запропастился?

— Кхе, кхе, — раздался кашель. — Я здесь, или сюла. Хан пошел на голос и увидел, что его товарищ вырыл себе ямку и лежит в ней скорчившись.

— Вот ты где! — удивился Хан.

— Мочи моей больше нет, промок весь до костей.

— Да, молодец — дождь, льет что надо.

— Ну, как там, наверху? Все в порядке?

— Ничего, в порядке. Только там один теленок-бедняжка валяется. Замерз под дождем, боюсь, как бы не подох. Я его халатом прикрыл.

— Бычку-то, конечно, в халате хорошо, а ты сам-то как же?

— А мне что сделается? Что я, дождей не видал?

— Вот теперь еще забота с этим бычком. Это из нашей бригады?

— Нет, это второй бригады.

— Как же он сюда попал?

— Должно быть, увязался за взрослыми быками, которых брали пахать. А как полил дождь, их и пустили, — сами, дескать, придут в аул. Ну, а этот теленок слабый, тощий. Он, небось, начал траву щипать и отстал от других быков. Потом дождь полил сильнее, он продрог и упал. Боюсь, как бы не подох до утра, — с сокрушением сказал Хан.

В этот самый вечер башлык, стоя у колхозного хлеба, отчитывал заведующего фермой:

— Скоро у нас по твоей милости не останется в поле ни одного быка.

— Да что я могу поделать? У меня прямо язык отвалился им говорить...

— Если не можешь справиться, дай мне знать, я приму меры. А тому, кто у тебя хоть раз выгонит скот и не приведет его на место, больше никогда быков не давай, — говорил башлык.

В эту минуту перед хлевом вырос Хан-лежебока со своим теленком.

— Это ты, Хан? — удивившись, спросил башлык. — Ты разве не у воды сегодня?

— Я-то у воды, да вот этот бычок чуть не замерз там под дождем. Ну, я его и пригнал.

— Спасибо, Хан, — сказал башлык. — Ступай домой, переоденься, обсушись, поешь горячего.

— Успеется, — сказал Хан и пошел назад в поле.

Пока он волил бычка, Ходжаберды успел возвести на запруде новую насыпь. Хан проверил все спуски, один закрыл, другие расширил. Потом пошел посмотреть, наполнились ли делянки водой.

Рассветало. Дождь перестал, ветер разогнал облака, и небо очистилось. Трава, омытая водой, благоухала свежестью, молодые всходы пшеницы блестели и переливались в лучах восходящего солнца, как большой осколок зеленого стекла. В кустах запели птицы, на небе показалась радуга. Хан долго стоял, опершись на

лопату, и любовался пробуждающейся природой. Он сказал своему товарищу:

— Взгляни. Раскрылось сердце мира.

И тот ответил:

— Да, это весна.

Когда колхоз праздновал годовщину Великой Октябрьской революции, башлык на общем собрании прочел имена ударников. В этом списке не на последнем месте стояло и имя Хана. Он получил в премию ковер, а Эджегюль — отрез дорогой ткани. А на трудодни они получили своим чередом.

Хан перетаскал из амбара в арбу десять чучалов пшеницы, сел на мешки и сказал аробщику:

— Поезжай к моему дому.

Когда арба остановилась перед домом, Хан спрыгнул на землю и крикнул:

— Эджегюль, пойдика сюда!

Эджегюль вышла на порог. Увидев чучалы, она улыбнулась и сказала:

— Ух, сколько хлеба привез, есть тебе его — не съесть!

А Хан ответил.

— Вместе заработали, вместе и есть будем.

1946 г.

КУЗНЕЦ-СВЯТОША

У Нязик-эдже сломался кетмень. Нязик-эдже работала в поле, когда случилась с ней эта беда, и она сказала другим колхозницам:

— Побегу к Баллы-мулле, надо поскорее починить кетмень.

Она вышла на дорогу и зашагала к аулу.

«Чтоб ему пусто было! — думала добрая Нязик-эдже, все ускоряя и ускоряя шаг, и мысль эта относилась не к кому другому, как к тому самому Баллы-мулле, к дому которого сейчас лежал ее путь. — Хуже нет обращаться к нему за каким-нибудь делом. Станешь просить, чтобы поскорее сделал, а он в ответ наплетет кучу всякого вздора, а потом скажет: «К чему такая спешка, почтенная Нязик-эдже? Я завален заказами, голубушка. Приходи завтра». Ему все равно, а я без этого кетменя, как без рук: он такой легкий, с ним работа лучше спорится».

Нязик-эдже углубилась в свои думы, и не заметила шедшего ей навстречу соседа Куллы, а когда тот ее окликнул, вздрогнула и остановилась, как вкопанная.

— Так это ты, Нязик-эдже! А я смотрю, кто это пыль подымает... Все — в поле, а ты — с поля? Что случилось?

— Ах, Куллы-джан, кетмень у меня сломался. Иду к Баллы-мулле и, знаешь, ума не приложу, как уговорить его поскорее починить мой кетмень.

Куллы достал папироску, закурил.

— Зачем же его уговаривать? — сказал он, выпуская клубы дыма. — На то он и кузнец, чтобы чинить.

— Да ведь как на него найдет, а то вон что с кетменем моей дочки было — четыре дня продержал его Баллы-мулла.

— Бывает, что и враз почичит, — многозначительно сказал Куллы.

— Ах, Куллы-джан, — пропела Нязик-эдже, сразу смекнув, что Куллы хочет подать ей добрый совет. — Посоветуй, пожалуйста, как бы мне его уломать. Это верно, что иной раз он быстро делает. Как видно, нет у меня к нему подхода.

Куллы рассмеялся.

— Неужто ты до сих пор не раскусила этого святошу? — спросил он. — Научить тебя, как нужно с ним разговаривать?

— Научи, Куллы-джан, будь так добр, научи, — сказала Нязик-эдже и даже подошла поближе.

— Ну, слушай, — сказал Куллы. — Ты сначала попроси его попросту: почини, дескать, мой кетмень. Если же он начнет отлынивать, ты действуй по такому плану: прежде всего похвали его искусство, затем побрани его жену и, наконец, заведи с ним разговор о какой-нибудь пригожей девушке из нашего аула — увидишь, он сразу растает и живехонько отремонтирует твой кетмень. У этого богобоязненного человека далеко не одни молитвы на уме.

Нязик-эдже увидела, что ей просто повезло. Сама удача послала ей навстречу Куллы. И верно: никто у нас в ту пору не раскусил еще по-настоящему этого кузнеца, который корчил из себя степенного и добродетельного отца семейства, набожного и богобоязненного, а сам совсем не то держал в мыслях. Потом-то все узнали, что он был человеком себе на уме. Но хитрый и проницательный Куллы сумел раньше других распознать кузнеца и проникнуть в его сокровенные мечты. Для него было не секрет, что последнее время Баллы-мулла страшно о себе возомнил, стал тяготиться своей женой, с которой прожил немало лет, и начал поглядывать своими кабаньими глазками на молоденьких и хорошеньких девушек нашего аула.

От души поблагодарив Куллы, Нязик-эдже, исполненная надежды, отправилась дальше.

Кузнец Баллы был уже немолод. Среднего роста, дородный, с бледным, одутловатым лицом, обрамленным черной бородой, он держался очень важно и носил длинную белую рубаху и широкие белые штаны, с которыми не расставался с ранней весны до глубокой осени. В одном кармане у него всегда лежала гребенка, в другой — аптечная баночка, предметы, необходимые, на его взгляд, для ухода за бородой, которую он то и дело расчесывал и, чтобы придать ей блеск, смазывал вазелином.

Про этого кузнеца у нас в колхозе говорили, что он святоша. Причиной этому послужило отчасти то, что прежде Баллы был муллой. Когда же его топор в этом ремесле иступился, то есть, попросту говоря, стало его дело никому не нужным, избрал он себе другое занятие. Сперва начал насекать зубья у серпов, затем приделывать ушки к монетам для женских украшений, а затем наловчился и мотыги ковать. Теперь он уже работал кузнецом в нашем колхозе, но попрежнему напускал на себя набожность, и поэтому, хотя он уже давно не был муллой, кличка «Мулла» так за ним и утвердилась.

Кузнец Баллы-мулла, наряду с прочими своими качествами, был еще непревзойденный хвастун. Стоило ему сделать кетмень, как его начинало распирать от гордости. Послушать его, так никто на свете не делал таких кетменей. Что говорить, кому не случалось похвалиться своим искусством, да и прихвастнуть ненароком, но все-таки можно поручиться, что кузнец Баллы-мулла в смысле самовосхваления не знал себе равных и легко вышел бы победителем из любого состязания хвастунов.

Нязик-эдже свернула с дороги в узенькую улочку и, пройдя вдоль дувала, зашла во двор кузницы.

— Привет тебе, дорогой мастер, — с поклоном молвила Нязик-эдже, став в дверях.

Баллы-мулла, оторвав глаза от кузнечного меха, хмуро глянул через плечо на почтенную Нязик и проворчал ответное приветствие. Потом, не обращая на нее больше внимания, стал сгребать угли. Раздув огонь, он подошел к наковальне и, вытирая пот со лба, спросил:

— Что тебе нужно, уважаемая?

— Да вот беда — кетмень сломался. Уж ты будь так

добр, дорогой мастер, почини поскорее, а то без кетменя, сам понимаешь, никак невозможно.

— Ну что ж, оставь кетмень, завтра-послезавтра зайдешь.

Нязик-эдже прислонила кетмень к стене, переминаясь с ноги на ногу, стала припоминать советы Куллы. Сперва взгляд ее растерянно перебегал с предмета на предмет, а затем, подняв с земли новый кетмень, лежавший возле наковальни, она сделала вид, что внимательно рассматривает его со всех сторон.

— Вот это кетмень так кетмень! — воскликнула она с притворным восхищением. — Не иначе, как это ты его смастерил. Ну еще бы! Чьи же руки еще могут создать такое чудо! Вот хотелось бы мне иметь такой кетмень!

Баллы-мулла покосился на нее, но ничего не сказал, а Нязик-эдже принялась расхваливать кетмень еще пуще.

Наконец кузнец не выдержал.

— С благословения божия, я плохих вещей не делаю, — важно изрек он, надуваясь от спеси, как петух. — Погляди хоть на это ведро; если даже через сто лет из этого ведра выскочит дно, пусть и тогда глаза у меня выскочат.

— Вай, что за ведро! — подхватила Нязик-эдже. — Это всем ведрам — ведро... Какое там на сто лет — ты сделал его на веки-вечные!

Не зная, что бы еще такое прибавить, Нязик-эдже огляделась кругом и заметила в углу кузницы ржавый, сломанный велосипед.

— Неужто ты и такую старую рухлядь починить можешь? — вне себя от изумления произнесла Нязик-эдже и даже глаза вытаращила. Баллы-мулла самодовольно усмехнулся.

— Да из этой старой рухляди я сделаю такую машину, что она будет летать, как на крыльях.

— Ну, дорогой мастер, значит, правду про тебя говорят, что ты можешь оживить железо, вдохнуть в него душу. Да, дивлюсь я на Бибиджамал, подумать только — не оценить такого мужа, который стоит дороже золота... Другая на ее месте тебя бы на руках носила.

— Ох, почтенная Нязик-эдже, — с дрожью в голосе промолвил бывший мулла, — прошу тебя, не касайся этого больного для меня вопроса...

— И как это женщины не ценят того, что имеют, — словно не слыша его слов, продолжала лукавая Нязик-эдже. — А другие-то — и молоденькие и хорошенькие, верно за счастье почли бы заполучить такого мужа...

Тут уж Баллы-мулла даже работу оставил.

— Дай-ка я посмотрю твой кетмень, добрая Нязик-эдже, — сказал он и, взяв кетмень, повертел его в руках. — Да тут и делать-то почти нечего.

— Конечно, конечно, для такого мастера, как ты, работа пустячная.

Кузнец выбил из кетменя черенок, раздул огонь и бросил кетмень в горн.

— А скажите мне, добрая Нязик-эдже, если бы я был холост, к какой девушке нашего аула посоветовала бы ты мне присвататься? — осторожно спросил он.

— Ну, что до этого... Разве мало у нас хороших девушек! А впрочем, есть одна... пожалуй, всех других краше.

— Дорогая Нязик-эдже, присядь здесь на кошму, выпей чайку с благословения божия, пока я буду чинить твой кетмень...

Баллы-мулла оставил мехи, подошел к двери, ведущей во внутренний дворик, и позвал игравшую во дворе дочку.

— Сбегай домой, принеси чайник чаю и пиалу, — приказал он. — Да поживее.

— Спасибо, дорогой мастер, только мне чай-то пить недосуг, надо на окучивание поспеть, — сказала Нязик-эдже. — Ты уж почини, пожалуйста, поскорее мой кетмень.

— Сейчас, сейчас, — пробормотал Баллы-мулла, снова берясь за мехи, и добавил скороговоркой:

— Про какую это девушку повела ты речь, дорогая Нязик-эдже? Объясни, пожалуйста. А я тем временем с благословения божия почию твой кетмень на славу.

— Зашла я в ковроткацкую артель — уж и не припомню сейчас, зачем, — начала Нязик-эдже, — но тут

дверь отворилась, и в кузницу вошла дочка кузнеца с чайником и пиалой в руках. Баллы-мулла приложил палец к губам, и Нязик-эдже умолкла на полуслове.

Девочка поставила на кошму чайник и пиалу и молча вышла. Нязик-эдже расположилась поудобнее, налила себе чаю и продолжала рассказ.

— Зашла я в артель и увидела там девушку не из нашего села. Красавица — глаз не отведешь. Стройная как лошадка, косы — ниже пояса, а уж улыбка... От такой улыбки ночью станет светло, как днем...

Так расписывала неизвестную красавицу Нязик-эдже, а Баллы-мулла, слушая ее рассказы, от волнения чуть не лишился рассудка. Он метался между горном и наковальней и бестолку хватался то за молот, то за клещи. Еле нашел в себе силы вымолвить:

— Ох, голубушка Нязик-эдже, ты словно заглянула ко мне в душу. Сдается мне, что ты говоришь про ту самую девушку, что видел я на-днях, проходя мимо ковровой мастерской... Очень она мне приглянулась. Не знаешь ли ты, кто она такая?

— Знаю, как не знать. Это новый председатель артели, она неделю назад приехала к нам из района. Зовут ее Гюзель.. Готов ли мой кетмень, дорогой мастер?

— Готов, готов, голубушка, — сказал кузнец, насаживая кетмень на черенок. — Получай. Совсем как новый.

— Спасибо, дорогой мастер! Желаю тебе, чтобы твои руки-ноги никогда не испытали болезни.

— Спасибо и тебе на добром слове... А не можешь ли ты, милая Нязик-эдже, познакомить меня с этой девушкой, с этой прекрасной Гюзель?

— Ах, уважаемый мастер, я бы с радостью помогла тебе в этом деле, да ведь я сама с ней не знакома. Я тебе вот что посоветую: пойдика ты к жене Аннапилпила. Ручаюсь, что она тебе поможет, если только ты сумеешь ее уговорить. Сначала она, конечно, будет отнекиваться, скажет, верно, что вовсе с этой девушкой не знакома, да ты не верь, не отставай от нее, пока не уговоришь.

А жена Аннапилпила считалась в ауле своего рода «телефонной станцией». Стоило ей услышать какую-ни-

будь новость, как она бросалась трезвонить о ней по всему околотку. Не попьет, бывало, не поест, не вымоется и головы не причешет, пока не оповестит всех колхозников о случившемся.

Итак, подав этот ядовитый совет, Нязик-эдже вскинула на плечо свой кетмень, вышла из кузницы и, не мешкая, направилась на хлопковое поле, а Баллы-мулла поглядел ей вслед и подумал: «Какая славная женщина! Превосходная женщина! Оказывается, и в нашем ауле есть умные люди, с которыми можно потолковать по душам».

В этот день из рук кузнеца не вышло ни одной сколько-нибудь стоящей вещи. Да он и не работал весь день. Где ему было работать, когда его каждую минуту тянуло посмотреть в зеркало! До самого вечера Баллы-мулла предавался сладким мечтам и что-то все время напевал себе под нос.

Промечтав так до конца рабочего дня, он закрыл кузницу и направился в кооператив купить чая. Но и по дороге он то и дело вытаскивал из кармана гребенку и расчесывал бороду.

Спесивый и важный, выпятив живот, вступил Баллы-мулла в кооператив и — бывают же на свете такие совпадения! — прямо перед собой увидел тоненькую, стройную девушку в шелковом красном кетени. На голове у девушки была накинута легкая, как облачко, газовая шаль, из-под которой выбегали две тугие черные косы.

Баллы-мулла замер на пороге, потом подошел поближе и стал довольно бесцеремонно разглядывать девушку. Несомненно, это была та самая красавица, которую еще сегодня утром так расписывала ему Нязик-эдже. А Гюзель — это действительно была она, — заметив, что какой-то толстяк не сводит с нее глаз, отвернулась и, раздосадованная, отошла к другому прилавку.

Баллы-мулла властным мановением перста поманил к себе одного из продавцов.

— Отпусти мне полкилограмма чая, — громко и важно молвил он и добавил, понизив голос:

— Кто эта с косами? Ты не знаешь ее?

— Это председатель нашей ковроткацкой артели, —

сказал продавец и, как показалось кузнецу, усмехнулся.

Баллы-мулла извлек из кармана объемистую пачку денег, отставил ее от себя подальше, так, чтобы всем видно было, как он богат, и начал с треском пересчитывать новенькие бумажки, предварительно посплюнув большой палец. Отсчитав нужную сумму и получив сверток и сдачу, Баллы-мулла сделал вид, что направляется к выходу, но, дойдя до середины кооператива, остановился и, заложив руки за спину, принялся за изучение выставленных на полках товаров. При этом он каждую секунду искоса поглядывал на Гюзель. В уме его зрели планы — один другого фантастичнее, как бы ему познакомиться с девушкой.

В это время в кооператив вошел еще один покупатель. Это был учитель Чары, и он направился не к прилавку, а прямо к Гюзель. От ревнивого взгляда Баллы-муллы не укрылось, что Чары при этом широко и радостно улыбнулся, а лицо Гюзель осветилось ответной улыбкой.

Баллы-мулла напряг слух. Разговор, повидимому, велся самый безобидный — о каких-то чайниках, мисках, пиалах, ложках... Но Баллы-мулла уловил все же одну загадочную фразу: «Ты смотри, чтобы все было парное... — негромко произнес Чары, в ответ на что Гюзель рассмеялась.

От волнения и нетерпенья Баллы-мулла топтался и приплясывал на месте, точно ему под ноги насыпали горячих углей. Наконец, видя, что Чары и Гюзель так заговорились, словно и не собираются расставаться, Баллы-мулла решил действовать напролом. Решительным шагом подошел он к беседовавшей в углу парочке и, протягивая Чары руку, произнес:

— Здравствуй, Чары. Извини, сделай милость, что я тебя не сразу приметил.

Сказав это, Баллы-мулла обратился к Гюзель и уже вознамерился и ей протянуть руку, но под недоумевающим взглядом девушки какая-то странная робость сковала его вдруг, и он ограничился поклоном и льстивой улыбкой.

Однако ни Гюзель, ни Чары даже не поглядели на бывшего муллу и снова заговорили о своих делах. Но и после этого Баллы-мулла не мог понять, что он здесь лишний. И снова, заложив руки за спину, он уставился на полки с товарами. Тем временем Чары, извинившись перед Гюзель, подошел к прилавку, купил флакон одеколona, положил его в карман и, возвратясь к Гюзель, сказал:

— Давай я помогу тебе донести покупки, — после чего они вместе вышли из кооператива.

Баллы-мулла направился за ними. Остановившись в дверях, он посмотрел им вслед.

— Эти учителя — самое злобное племя! — про- бормотал обозленный своей неудачей кузнец. — Хоро- шеньким девушкам от них просто спасенья нет. Безо- бразие!

Возвратясь домой, Баллы-мулла напился чаю, всласть побранившись при этом с женой (последнее время ни одно чаепитие в этом доме не протекало без ссор), а когда стемнело, направился к дому Аннапилпила.

Жену Аннапилпила звали Акджамал.

Второй такой грязнухи не сыскать не только у нас в селе, а, пожалуй, намного километров вокруг. Начать с того, что волосы у этой особы, всегда не мытые и не причесанные, видом своим более всего напоминали грязную кошму. Акджамал, с тех пор как я ее помню, покрывала их все той же старой тюбетейкой, которая держалась у нее на темени с помощью какой-то ветхой, полуистлевшей тряпицы, когда-то, видимо, именовавшей- ся косынкой, но давно уже успевшей потерять право на это наименование. Подстать тюбетейке и косынка была и остальная одежда Акджамал, прикрывавшая ее длин- ное костлявое тело. К тому же Акджамал предпочитала ходить босиком, и по улицам нашего аула вечно мель- кали ее черные, заскорузлые, потрескавшиеся от грязи пятки. Не подумайте только, что это объяснялось ее скупостью или тем, что у Акджамал не было достатка. Какое там! Все дело было в том, что обуваться — это

ведь требует времени, а вот времени-то у Акджамал и не было. Ведь, помимо всех обычных колхозных работ и домашнего хозяйства, у Акджамал была еще одна огромная и весьма хлопотливая нагрузка: каждую свободную минуту — а в свободный день так и всю первую половину дня — Акджамал носилась по аулу в поисках новостей, а вся вторая половина дня уходила у нее на то, чтобы довести раздобытые ею новости до сведения тех, кто о них еще не слышал. Так протекал день. Ну, а ночью, хочешь — не хочешь, спать надо.

Словом, трудная жизнь была у Акджамал. Думается, что кроме Акджамал, не было на свете человека, который мог бы справиться с такой работой. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, и в вашем селе есть такие же подвижницы, как наша Акджамал?

Тот день, о котором веду я свой рассказ, был полон неудач для Акджамал. Долго бегала она по селу, а домой вернулась ни с чем. Ни одной сколько-нибудь стоящей новости! А то, что удалось ей уловить краем уха, было настолько мелко и ничтожно и настолько недостоверно, что многоопытная Акджамал решила этими слухами пренебречь. Нет, теперь уж она не попадется на удочку... Сказать по правде, Акджамал уже не раз довольно чувствительно обжигалась на таких слухах.

Сумрачная, невеселая, сидела вечером Акджамал на кошке перед кибиткой, вытянув ноги. Она сегодня не стала даже ужинать, и чайник с чаем понапрасну стыл перед ней, — Акджамал до него не дотронулась. Аннапилпил, муж Акджамал, сидел рядом и, облокотившись о подушку, мирно попивал чай и поглядывал на свою расстроенную супругу.

— О чем грустишь, любимая? — участливо спросил Аннапилпил. — Неужто труды целого дня пропали даром? Неужто в наших местах совсем иссякли темы для сплетен? Или собранные тобой новости, как на грех, оказались лживыми?

— Ах, что ты понимаешь в этих делах! — с досадой огрызнулась Акджамал, поворачиваясь к мужу спиной.

— Ты права, ты, как всегда, права, моя радость. Где уж мне разобраться в таком сложном хозяйстве! Но у

меня так болит душа из-за твоей неудачи, что я, пожалуй, пойду сейчас, поброжу по соседям. А вдруг услышу какую-нибудь новость для твоего утешения!

С этими словами Аннапилпил встал и вышел за дувал, а жена его, утомленная дневными трудами, прилегла на кошму, вся во власти своих безотрадных дум. Прошло минут двадцать. И вдруг за воротами раздался собачий лай, а затем до Акджамал донесся голос кузнеца:

— Пошла, пошла вон, негодная! — кричал Баллы-мулла, отгоняя собаку. — Аннапилпил! Позови своего пса!

Акджамал взвилась с кошмы и бросилась к воротам.

— Милости прошу, милости прошу, Баллы-ага! — вскричала она, отпихивая ногой собаку. — Входи, пожалуйста! Аннапилпила нет дома, но он скоро придет.

Акджамал усадила гостя, налила ему чаю.

Баллы-мулла, сняв галоши, ступил на кошму, принял из рук Акджамал пиалу и придвинул к себе поближе чайник.

— А где же твой муж, Акджамал-эдже?

— Он пошел ненадолго к соседям.

Акджамал вынесла из кибитки довольно черствые лепешки и положила их перед кузнецом. Баллы-мулла, попивая чай, повел беседу издалека. Акджамал внимательно слушала, кивала, где нужно, головой, где нужно поддакивала и жадно ждала «главного». Она сразу почувяла, что кузнец пришел неспроста, и этот разговор — лишь необходимое, требуемое приличием, вступление.

И вот Баллы-мулла сказал:

— Акджамал, у меня есть к тебе поручение.

Акджамал вздрогнула и вся обратилась в слух. Но кузнец больше ничего не прибавил, и Акджамал сказала:

— С радостью, Баллы-мулла, приму его на себя и выполню, если будет оно мне под силу. — И, не удержавшись, прибавила: — Говори же, дорогой Баллы-ага, я тебя слушаю.

— Скажи мне, почтенная Акджамал, не знакома ли ты случайно с нашим председателем ковроткацкой артели?

— Нет... да... немножко знакома, — осторожно ответила Акджамал. — Это ты говоришь про ту девушку, что пила городскую воду?

— Про эту самую, про эту самую...

— И чего же ты хочешь, дорогой мастер?

Баллы-мулла помолчал, придвинулся поближе к Акджамал и вдруг произнес:

— Я подарю тебе халат, если ты с божьей помощью украдешь ее для меня.

Акджамал остолбенела. Чего-чего только не приходилось ей слышать на своем веку, но такого она еще отродясь не слыхала. «Уж не сошел ли он с ума?» — промелькнуло у нее в голове. Однако диковинное это предложение требовало ответа, и Акджамал нашла в себе силы пролепетать:

— У вас борода, дорогой мастер... У вас жена... дети...

— Я разведусь! — неожиданно для самого себя выпалил Баллы-мулла. — Мы... это самое... не сошлись характерами. А моя борода тебя не касается.

Акджамал тем временем уже овладела собой и собралась с мыслями.

— Ну, конечно, дорогой Баллы-ага, — промолвила она. — Каждый строит свою жизнь по своему вкусу. Я бы непременно выполнила для тебя это поручение, да вот беда — с девушкой-то я почти не знакома. Впрочем, дам тебе хороший совет. Я знаю женщину, которая, несомненно, с большой радостью и охотой возьмется за это важное дело и выполнит его без особого труда.

— Кто же это, кто?

— Не теряя времени, спеши к матери Эссена. Лучшей помощницы в таком деле тебе не найти.

Если бы в эту минуту вы могли заглянуть в душу Акджамал, вы бы поняли, что почтенная женщина едва удерживается, чтобы не пуститься от радости в пляс. Такое удачное окончание такого неудачного дня! И как она это здорово придумала! Секрет был в том, что мать Эссена, сухая, строгая, сердитая старуха, вечно и в глаза и за глаза бранила жену Аннапилпила, и неудивительно, что Акджамал немного ее недолюбливала.

— Хорошо, я сейчас же последую твоему совету, Акджамамал-эдже, — поднимаясь с кошмы, сказал Баллы-мулла. — Но предупреждаю тебя: разговор этот должен остаться между нами.

— Будь спокоен, дорогой Баллы-ага. Ты же знаешь: Акджамамал нема, как могила.

Баллы-мулла надел калоши и направился к воротам, боязливо озираясь на собаку.

— Ничего, ничего, Баллы-ага, не бойся, я придержу пса, — сказала ему вдогонку Акджамамал, которой теперь уже не терпелось, чтобы гость поскорее ушел.

Оставшись одна, Акджамамал села и с упоением стала перебирать в уме всех колхозников, подыскивая, к кому бы первому броситься ей поутру с этой поразительной новостью. Она бы уже и сейчас ринулась к соседям, но они, как видно, легли спать — в окнах не было света. Приходилось скрепя сердце ждать утра.

Акджамамал не сиделось на месте. Она вставала, садилась, снова вставала. Волнение ее было столь велико, что она едва нашла в себе силы лечь в постель. Да и в постели долго не могла уснуть. За ночь она хорошо продумала новость, которую наутро собиралась преподнести всему селу, добавив, разумеется, при этом от себя кое-какие существенные «подробности».

А Баллы-мулла, выйдя из дома Акджамамал, напрямик направился к матери Эссена и немало напугал эту почтенную женщину таким поздним посещением. Вообразите же себе ее изумление и гнев, когда она услышала из уст кузнеца о цели его прихода!

Вернувшись домой ни с чем, Баллы-мулла улегся спать, но и ему не спалось в эту ночь, сон бежал его глаз. Ворочаясь под своим верблюжьим одеялом, то и дело подпихивая поудобнее подушку, Баллы-мулла думал:

«Пойду-ка я завтра сам в артель. Накую ножичков для ковротканья и пойду... Гюзель увидит ножички и подойдет поговорить со мной. «Дорогой уста-ага, — скажет она своим певучим голоском, — какие чудесные ножички! Как я рада, что ты заглянул к нам в артель. Очень тебя прошу, поточи нам ножницы, отремонтируй

поломанные гребни...» А я тут приложу руку к сердцу и молвлю: «О прелестная Гюзель! Приказывай! Ты только приказывай, а я сделаю все, что ты велишь!»

От этих мыслей сладкая истома разлилась у толстого кузнеца по всему телу, он, наконец, уснул.

Продрав глаза с первым рассветным лучом, Баллы-мулла наскоро поел и отправился в кузницу. Оставив без внимания все прочие заказы, он принялся ковать ножички. До обеда сделал шесть неплохих ножичков, из которых два были даже лучше других — над отделкой их он особенно потрудился. Один из них предназначался для Гюзель, другой — для Огульбике. Эта молоденькая женщина из ковроткацкой артели давно пользовалась симпатией кузнеца. Положив ножички на полку, он закрыл кузницу и пошел домой.

Дома жена уже собирала обед, но Баллы-мулла от волнения совсем лишился аппетита. Он вынул из ковровой сумки небольшое зеркальце, ножницы и пинцет и вышел из дома. Присев прямо на солнцепеке на крылечко, он принялся волосок за волоском выдергивать бороду, которая буйно и беспорядочно росла у него на подбородке и на щеках. Совсем уничтожить это волосяное украшение Баллы-мулла однако не решился и ограничился тем, что выщипал, примерно, половину бороды, а остальную укоротил ножницами. Все же от этой операции лицо его изменилось до неузнаваемости.

Провозившись с бородой около часа, Баллы-мулла, наконец, удовлетворенно вздохнул, кинул на себя последний взгляд в зеркало и поднялся с крылечка. В это время дверь дома отворилась, и старшая дочка Баллы-мулла, высунув наружу голову, спросила:

— Отец, ты почему обедать не идешь?

— Обедайте сегодня без меня, я занят, — сказал Баллы-мулла важно. Он наполнил водой кумган, умылся и вымыл голову. Потом вошел в дом, достал полотенце, утерся, и, расчесав остатки своей бороды, смазал их вазелином. Его жена и дети уже сидели за обедом. Биби-джамал спросила:

— Почему ты не обедаешь, Баллы?

Но тут взор ее упал на его бороду, и она схватилась за ворот, что, как известно, служит в наших краях выражением крайнего изумления и ужаса.

— Что ты наделал, Баллы! Побойся бога! Постыдись людей! Что это за клочки шерсти торчат у тебя на подбородке? Где твоя борода? К лицу ли тебе такое? Засмеют тебя колхозники!

— Ну и пусть. Разве я не хозяин своей бороды? — Сегодня я стал ею недоволен и пожелал укоротить, а завтра, может быть, и совсем истреблю.

— Ну, ну... Дело твое. Только всем нам за тебя неловко как-то.

Баллы-мулла молча натягивал на ноги новые коричневые полуботинки.

— Куда это несет тебя нечистая сила? — заметив его усилия, спросила Бибиджамал. — Чего ты наряжаешься?

— Я приглашен в гости, — спесиво сказал Баллы-мулла. — Достань мне новую рубашку и штаны.

— Вот оно что! — сказала Бибиджамал. — Ну, ну...

Она убрала грязную посуду, свернула скатерть, положила ее в нишу в стене и, подойдя к чувалу, достала оттуда рубаху и штаны.

— Вот, получай.

Баллы-мулла оделся, посадил на голову тюбетейку и, не сказав больше ни слова, вышел.

Он направился к кузнице, взял там приготовленные утром ножички, завернул их в чистый платок и двинулся в ковроткацкую артель, которая находилась на другом краю села.

Шагая по дороге, бывший мулла размышлял о том, как будет он объясняться с Гюзель, и испытывал при этом немалое волнение.

«Как мне к ней приступить? — думал он. — Может быть, лучше всего для начала выразительно подмигнуть ей? А ну как ей это не понравится? Нет, лучше, пожалуй, здороваясь, хорошенько стиснуть руку. А вдруг она не поймет, что это значит, и обидится? Нет, так тоже не годится. Надо действовать через Огульбике. Эта девушка сметливая, шустрая, она тоже в городе жила, знает все тамошние обычаи. Она и одевается по-городскому...»

Занятый своими думами, кузнец проходил по узенькому проулочку между домами, который упирался в большую дорогу, делившую надвое наш аул. Дорога эта вела в город, и на ней, шагах в ста от проулка, стоял дом ковроткацкой артели.

На правой стороне проулочка, возле дувала, мирно дремала небольшая лохматая собачонка, и Баллы-мулла, который отчаянно боялся собак, опасливо покосившись на лохматого стража, благоразумно свернул к левой стороне.

«Как бы проклятая не укусила!» — подумал он, не сводя исполненного подозрения взора с собачонки и не замечая, что еще более грозная опасность подстерегает его с другой стороны. В воротах дома на левой стороне проулка лежал большой белый пес. Странная фигура, которая бочком пятилась через улицу, все время оглядываясь назад, показалась псу подозрительной, и он солидно тьявкнул. От неожиданности и испуга Баллы-мулла пронзительно взвизгнул и бросился бежать, а этого, как известно, терпеть не могут все собаки. Пес прыгнул сзади на Баллы-муллу и отодрал от его рубахи огромный лоскут, после чего, удовлетворившись добытым грофеем, вернулся на место, а Баллы-мулла припустился дальше, даже не заметив с перепугу, какой урон нанесло его костюму это нападение.

— Что б твоя собака откусила тебе голову! — крикнул он, когда пришел, наконец, в себя и увидал, что преследование окончено. Он надеялся, конечно, что эти слова долетят до хозяина собаки.

Выйдя на большую дорогу, Баллы-мулла снова приосанился, достал из кармана гребенку, расчесал бороду и пошел дальше, высоко подняв голову и выпятив живот. Жаль, что не мог он в эту минуту полюбоваться на себя сзади!

Отворив дверь в ковроткацкую артель, мастер шагнул в комнату, где женщины и девушки работали, склонившись над коврами, и огласил ее громким приветствием:

— Добрый день, красавицы!

— Здравствуй, Баллы-ага! Ты что-то редко стал к

нам захаживать, — отвечали ему. — Нам бы вот ножи поточить не мешало.

Баллы-мулла стоял спиной к двери и ковровщицы не могли заметить приключившейся с ним беды.

— Зато сегодня я к вам не с пустыми руками явился, — сказал Баллы-мулла, ища взглядом Гюзель. — Я принес хорошие ножички.

— Вот за это спасибо, — сказала Огульбике. — Если ты будешь нам почаще помогать, станешь у нас желанным гостем.

— Я теперь с божьей помощью часто буду вас навещать, — торжественно пообещал Баллы-мулла. — Я сегодня видел председателя колхоза, и он мне такое задание дал... — И, наклонившись к пожилой женщине, которая сидела ближе всех к двери, он спросил негромко:

— А где же ваш председатель?

— Она недавно куда-то отлучилась, — последовал ответ.

В эту минуту отворилась дверь и в мастерскую вошла еще одна молоденькая ковровщица. Сделав два шага, она внезапно замерла на месте и глаза у нее стали совсем круглыми от удивления. Потом, прикрыв рот рукой, девушка прыснула со смеха. Все ковровщицы, оторвавшись от работы, посмотрели на нее с недоумением.

Баллы-мулла тоже не мог не обратить внимания на этот девичий смех, прозвучавший у него за спиной. Он повернул голову, глянул через плечо, а затем, желая лучше рассмотреть смешливую девицу, повернулся к ней.

Тут спина кузнеца Баллы предстала ковровщицам во всей своей красе, и они возвестили об этом таким дружным взрывом хохота, что Баллы-мулла вздрогнул и в полном недоумении снова обернулся к ним лицом. Во время этих телодвижений лохмотья рубашки болтались у него за спиной, словно ослиные уши, но сам обладатель их все еще ничего не замечал. Однако он уже чувствовал себя неловко и, чтобы скрыть свое замешательство, тоже рассмеялся, вернее выдавил из себя насильственный смешок, как бы давая этим понять, что он понимает причину смеха работниц и готов приобщиться к общему веселью. Все еще хихикая, Баллы-мулла принялся расхаживать по мастерской, а это только подливало масло в огонь и

давало повод к новым взрывам хохота... В конце концов смех стал настолько безудержным, что сколь ни был наш Баллы-мулла самодоволен и туп, а догадка о том, что женщины смеются над ним в конце концов промелькнула у него в голове. Тогда он перестал шагать по мастерской и в недоумении уставился на ковровщиц.

Одна из женщин подошла к нему и взяла его за руку:

— У вас, уважаемый... — начала было она, но не выдержала, снова расхохоталась и не смогла больше вымолвить ни слова.

Тут кузнец Баллы вдруг страшно рассвирепел и от злости стал красный, как свекла. Он взмахнул руками, отчего сверток выскочил у него из-за пазухи и ножички рассыпались по полу. Чтобы их подобрать, он наклонился и только тут впервые заметил, что у него что-то болтается сбоку под руками... Баллы-мулла выпрямился и ощупал свою спину. Испуг и замешательство отразились на его лице...

— Ах, проклятая собака! — пробормотал он и бросился к двери. Ослиные уши колыхнулись последний раз на потеху всем ковровщицам.

Расстояние, отделявшее артель от проулка, Баллы-мулла покрыл с невиданной быстротой и, лишь скользнув в проулок, позволил себе немного отдышаться. С опаской миновав ворота, из которых, когда он шел в артель, выскочила на него собака, он зашагал дальше, ругая на все корки и этого зловредного пса и его хозяина.

Когда кузнец Баллы-мулла вернулся домой, Бибиджамал по его лицу сразу поняла, что с ним случилась какая-то неприятность, а разорванная рубашка досказала ей остальное.

— Кто это тебя так отделал? — спросила она.

— Кто-кто... Собака этого дурака Аннакули.

— Не укусила она тебя?

— Да уж лучше бы укусила проклятая!..

Тут в комнату вбежал сынишка кузнеца и, увидав его разодранную в клочья рубашку, с удивлением спросил:

— Ата, что с тобой?

Этот простодушный вопрос почему-то взбесил Баллы-муллу. Он злобно крикнул сыну:

— Убирайся вон, паршивец! Не твое дело!

Бибиджамал мгновенно встала на защиту сына. Нужно сказать, что в то время, как Баллы-мулла путешествовал в ковроткацкую артель, печальная весть о коварных замыслах ее супруга уже успела коснуться слуха Бибиджамал.

— Зачем ты срываешь свою злость на ребенке? — спросила она. — За последнее время ты совсем перестал уделять внимание детям. И вообще ты что-то, как я погляжу, от дома отбился. Все бродишь где-то... Не мудрено, что тебе собаки рубаху порвали. А как придешь домой, так слова доброго от тебя никто не услышит. Сидишь, как истукан.

— Ну ладно, понесла!..

— Нет, не ладно, а я тебе обижать детей не позволю. Одного ноготка на пальце моего ребенка я не променяю на тебя, Баллы. Я вижу, что тебе на детей наплевать, а я сумею о них позаботиться, вырастить их, поставить на ноги.

— Да ладно, надоело... Мне переодеться надо, давай рубаху.

Бибиджамал вспыхнула:

— Ты на меня не кричи. Пусть тебе твоя будущая невеста подает рубахи.

— Какая такая невеста? Что за вздор? Откуда ты это взяла?

— Неважно, откуда взяла, а только раз на то пошло, так живи себе, как хочешь, а я больше о тебе беспокоиться не намерена. Не стану я тебе ни готовить, ни стирать.

— Нет, ты скажи, кто это тебе наплел? — с тревогой спросил Баллы-мулла.

— Не все ли равно, кто? Люди говорят.

— Врут они. Зачем ты слушаешь!

— Нет, Баллы, шила в мешке не утаишь. Уже все село знает о том, что ты собираешься жениться на председательнице ковровой артели.

— Вранье это. Кто тебе сказал?

— Нет, не вранье. Хаджат сказала у колодца.

— Вот видишь, как она врет. Я ее и в глаза не видал. Склочница — твоя Хаджат.

— Вовсе нет, Хаджат никогда не врет. Хаджат услышала это в поле от жены Сапаргельды, а к жене Сапаргельды еще на рассвете, когда она выгоняла корову, примчалась с этим известием жена Аннапилпила... Ну, какие тебе еще нужны доказательства?

— Что ж ты умолкла? Перечисляй дальше! А жене Аннапилпила кто сказал?

— А ей сказал ты!

— Вот и неправда. Я ее даже не видал.

— Да? Ну, подожди! Я вот приведу сейчас сюда жену Аннапилпила...

— Можешь не трудиться. Я все равно с этой сплетницей разговаривать не стану... Все это вранье. А если б было правдой, я бы тебе сам сказал.

Баллы-мулла подошел к чувалу, достав себе рубашку, переоделся и отправился в кузницу.

С этого дня пошел в доме кузнеца разлад. Мысль о Гюзель не оставляла Баллы-муллу, она крепко засела у него в голове и не давала ему покоя. За первой размолвкой с женой последовала вторая, потом третья, и в конце концов Баллы-мулла заявил Бибиджамал, что она ему надоела и он желает получить свободу.

— Ну, что ж... Вот тебе комната, вот тебе одеяло, вот тебе подушка, вот тебе кошма, чайник, пиала... ишак... Живи, как знаешь, а нас не касайся, — сказала Бибиджамал. И Баллы-мулла стал жить на холостом положении.

Он начал с того, что начисто сбрил усы и бороду. Затем обзавелся новыми брюками и майкой. А когда услышал, что учитель Чары призывается в армию, исполнился радужных надежд. Тут он купил велосипед и, нацепив на себя майку, которая туго-претуго обтягивала его толстый живот, начал по несколько раз в день кататься мимо окон ковроткацкой артели.

О выходках кузнеца знало уже все село. И стар, и млад — все шутили на его счет. Наш комсорг Мурад, встретив как-то кузнеца Баллы, сказал ему:

— Здравствуй, бывший мулла! А ты, оказывается, вон какой прыткий! Смогри, это плохо кончится. Уже весь народ над тобой смеется.

Но Баллы-мулла никак не унимался. Он не только ходил в коврикатскую мастерскую, но стал даже навещать к Гюзель домой. Девушка принимала его вежливо, с почтением, хотя и посмеивалась про себя — очень уж забавный вид был у этого толстяка! А что касается сплетен по его адресу, которые Гюзель не могла не слышать, то она пропускала их мимо ушей. Ей никак не приходило в голову, что все это может быть всерьез, что этот солидный, почтенного возраста человек, да к тому же еще отец семейства, может напустить на себя такую блажь.

Простая, непринужденная манера обхождения Гюзель обезоружила Баллы-моллу, и он всякий раз уходил от нее, так и не открыв ей своих намерений. Вся беседа их сводилась к тому, что кузнец безбожно хвастал и врал, а Гюзель смеялась.

В конце концов Баллы-мулла решил излить свои чувства в письме. Как-то в полдень он закрыл кузницу, пошел домой, затворился у себя в комнате, вырвал из тетради лист бумаги, взял огрызок карандаша и повалился ничком на кошму. Подложив под грудь подушку и посплюнув карандаш, он принялся выводить слова. Подняв всю муть со дна своей души, бывший мулла доверил ее бумаге... Окончив письмо, он глубоко задумался. Потом встал, с решительным видом сунул письмо в карман и вышел из дома.

Разостлав кошму во дворе под тенистым карагачом, Куллы пил чай вместе со своей женой Огульбике. Огульбике рассказывала что-то занятное, и Куллы потешался от души.

— Так, так... А что же дальше? — спросил Куллы, когда Огульбике умолкла.

— Ты знаешь, Куллы, по-моему, он какой-то полумудрый. У него ведь семья... И вообще, на что такой старик нужен молодой девушке? Как только этот бесстыжий человек не понимает, что над ним все смеются!

Огульбике встала, взяла ложку, подошла к очагу, сложенному во дворе, попробовала, не нужно ли добавить соли в суп, и вернулась на свое место.

— Зря ты не взяла вчера у него эту записку, — сказал Куллы. — Надо было взять и передать Гюзель — пусть бы она хорошенько пристыдила этого толстопузого... — И Куллы не выдержал и снова рассмеялся.

— Да ну его совсем! Не хочу я с ним связываться, — сказала Огульбике. — Допивай чай, Куллы, сейчас обед подам.

— Подавай, обед. Я не хочу больше чаю.

Огульбике убрала чайники и пиалы и поставила на кошму миску с супом.

Когда Куллы и Огульбике кончили обедать, и Огульбике убрала посуду, в воротах, приветствуемый собачьим лаем, показался Баллы-мулла.

— Куллы, смотри, — вполголоса пробормотала Огульбике. — Легок на помине.

— Ну что ж, добро пожаловать, — улыбнулся Куллы.

— Добрый день, — сказал кузнец подходя.

— Спасибо, садись, будь гостем, — подвигаясь, чтобы дать ему место на кошме, пригласил Куллы. — Жаль, что не пришел пораньше, пообедали бы вместе. Говорят, кто к обеду опаздывает, того теща не любит, — пошутил Куллы.

— У меня нет тещи, — молвил Баллы-мулла, снимая калоши и ступая на кошму.

— Ну нет, так будет, — сказал Куллы.

— А может быть, вы поможете мне обзавестись тещей? — слащаво улыбнувшись, спросил Баллы-мулла и поглядел на Огульбике.

— Кому одной тещи мало, тому и двух может нехватить! — огрызнулась Огульбике и, с грохотом опустив грязную посуду в таз, принялась тереть тарелки мочалкой...

— Не слушай ее, — усмехнулся Куллы, — ведь не даром же говорится: «В соли и в девушках недостатка не бывает».

Не иначе, как хотел лукавый Куллы еще больше раззадорить кузнеца такими словами!

— Правильно говоришь, Куллы, — подхватил Баллы-мулла. — А вот твоя жена никак не хочет мне помочь, — покосившись на Огульбике, добавил он и, сняв тюбетейку,

почесал темя. — Просил я ее передать одну записочку к ним в артель, а она ни в какую — не хочет и не хочет.

— Ты что же это? Руки у тебя отвалятся, что ли, передать записку? — сурово сдвинув брови, спросил жену Куллы. — А где эта записка? — обратился он к мастеру. — Ты уже передал ее?

— Нет! Записка здесь, со мной.

— Так давай ее мне, я сумею передать не хуже Огульбике. Кому это?

— Вот спасибо, вот спасибо. Передай ее Гюзель.

Вынув из кармана записку, Баллы-мулла отдал ее Куллы.

— Вечером жди ответа, — пообещал Куллы, пряча записку в карман.

Огульбике, не проронив ни слова, унесла перемытую посуду. Потом вышла из дома и, накидывая на ходу шаль, направилась к воротам.

— Пстой, пстой, Огульбике, — сказал Куллы. — Нужно напоить гостя чаем.

Огульбике молча взяла кундюк, но Баллы-мулла возразил:

— Нет, нет, для меня не беспокойтесь. Я бы с радостью попил с вами чайку, да мой обеденный перерыв кончился, кузницу открывать пора. А то мне уже в правлении колхоза замечание сделали, будто я поздно открываю...

Он встал и начал совать ноги в калоши.

Огульбике поставила на место кундюк и попрощалась с гостем, сказав, что спешит в артель.

Баллы-мулла надел калоши и тоже направился к воротам.

— Так ты с божьей помощью передашь ей эту записку? Прямо в руки? — еще раз переспросил он Куллы.

— Да уж будь спокоен, сделаю все, как нужно, — заверил его тот. — А что, разве девушка подала тебе надежду?

Баллы-мулла победоносно поглядел на Куллы.

— Да, друг Куллы, по всему видно, что она совсем не прочь выйти за меня замуж, — самодовольно заявил

он. — Все дело во мне. Я, понимаешь, все никак не мог придумать, как бы мне с ней объясниться. Но вот я написал эту записку, и теперь все выяснится. Получив ее, моя Гюзель скажет: «Наконец-то! Ведь я так давно об этом мечтала! И вот он позвал меня, мой Баллы!»

— Ну, ежели так, то я тем более поспешу доставить ей эту записку, — улыбнулся Куллы.

— Да уж удружи, пожалуйста, — снова попросил Баллы-мулла, выходя за ворота.

«Уж я тебе «удружу»! Нет, с такого дурака спесь сбить необходимо, — подумал Куллы, глядя ему вслед. — Надо же, про хорошую девушку и такую пакость выдумал: — будто она в него влюбилась, мечтает, видите ли, о таком толстопузом! Ну, а если Гюзель и вправду задумала выйти замуж за этого дурака, надо ей помочь — открыть глаза».

Куллы подошел к дувалу, отделявшему его двор от соседского, и крикнул:

— Нязик-эдже!

— Иду! Кто зовет? — отозвалась та. Послышалось шарканье башмаков, и вскоре голова Нязик-эдже показалась над дувалом.

— Ты что, Куллы-джан?

Куллы достал из кармана записку.

— Снеси, пожалуйста, эту записку нашему комсору Мурату. Только, смотри, никому больше не отдавай, прямо ему в руки.

Здесь крылась какая-то тайна, — Нязик-эдже сразу это почуяла. У нее так и чесался язык расспросить Куллы, но она понимала, что это было бы не деликатно. И Нязик-эже обуздала свое любопытство, утешаясь мыслью, Куллы, вероятно, сам ей что-нибудь потом расскажет.

— Хорошо, Куллы-джан, сейчас снесу.

Нязик-эдже взяла записку, завязала ее в кончик головного платка и отправилась к Мурату. Она отдала ему записку. Мурат прочел ее и задумался. Нязик-эдже уж собралась было итти, но Мурат попросил ее обождать. Он достал с полки ручку и чернила и написал на уголке записки:

«Товарищ Гюзель! Комсорг колхоза хотел бы знать твое мнение об этом послании. Напиши ответ!»

— Вот, Нязик-эдже, — сказал Мурат, — уж будь так добра, передай эту записку председателю ковровой артели Гюзель. — И когда Нязик-эдже направилась к двери, Мурат прибавил — слово в слово, как Куллы: — Только, смотри, никому больше не отдавай, передай ей прямо в руки.

— Хорошо, дружок, передам, — сказала Нязик-эдже, дивясь всему этому про себя. — Раз уж взялась носить записки, не итти же на попятный. Если к ночи освобожусь, и то ладно, — пошутила она.

Мурат рассмеялся, а Нязик-эдже снова завязала записку в платок и отправилась в ковровую артель. Теперь ее любопытство было растревожено еще больше, и она всю дорогу укоряла себя за то, что нехватило у нее духа расспросить Куллы. Догадки, одна другой несусразнее, приходили ей на ум.

Придя в мастерскую, Нязик-эдже поздоровалась с ковровщицами, потом отозвала в сторону Гюзель и, придав своему лицу крайне таинственное выражение, развязала кончик платка, вынула оттуда изрядно помятую записку и протянула ее девушке.

Гюзель, недоумевая, взяла записку, развернула и стала читать. Лицо ее вспыхнуло. Она бросила гневный взгляд на Нязик-эдже и продолжала читать дальше. От обиды глаза у нее налились слезами. Потом, перевернув записку, она увидела надпись Мурата, и улыбка тронула ее губы.

— Зайди на минутку ко мне домой, добрая Нязик-эдже, — сказала Гюзель, — у меня будет к тебе небольшая просьба.

Гюзель жила в соседнем доме, рядом с ковроткацкой мастерской. Введя к себе в комнату Нязик-эдже, она попросила ее присесть, сама тоже села к столу, достала листок бумаги и принялась писать. Нязик-эдже терпеливо ждала: она уже понимала, что ей опять предстоит.

— Вот, дорогая Нязик-эдже, будь так добра, отдай это, пожалуйста, Мурату, — сказала Гюзель, кончив

писать и передавая Нязик-эдже две сложенные записки.

— Хорошо, хорошо, — покорно сказала Нязик-эдже, завязывая записки в платок. — Видно, вы сегодня решили определить меня на новую должность.

— Только, пожалуйста, отдай это самому Мурату и никому больше не показывай, — сказала ей вслед Гюзель.

Но слова эти сделались уже настолько привычными для слуха Нязик-эдже, что она не обратила на них ни малейшего внимания.

Мурат, получив от Нязик-эдже записки, прочел их одну за другой и сказал весело:

— Ну вот, почтенная Нязик-эдже, теперь все в порядке.

— Значит я могу итти домой, Мурат-джан? Гляди-ка — за вечерело.

Мурат с улыбкой посмотрел на Нязик-эдже.

— Нет, дорогая Нязик-эдже, я все-таки попрошу тебя выполнить последнее поручение. — И он протянул ей одну из записок, присланных ему Гюзель. — Будь так добра, передай, пожалуйста, это письмо нашему кузнецу Баллы-мулле.

— Толстопузому? Давай сюда, — сказала Нязик-эдже, уже пригатавливая кончик платка. — Передам в собственные руки и никому не покажу!

Баллы-мулла в сумерках стоял на дороге перед кузницей и, подбоченясь, смотрел в сторону ковровой мастерской. Он не заметил Нязик-эдже, которая появилась с другой стороны.

— Добрый вечер, Баллы-ага, — сказала Нязик-эдже, подходя поближе.

Баллы-мулла скосил на нее глаза и ответил, не поворачивая головы:

— А, это ты, Нязик-эдже! Как это тебе, голубушка, пришло тогда в голову подать мне такой глупый совет — обратиться к жене Аннапилпил?

— Ой, о чем ты вспомнил, Баллы-ага! Я уж и позабыла совсем, как это случилось. Смотри лучше сюда, я принесла тебе записку, — сказала Нязик-эдже, развязывая платок.

Баллы-мулла обрадовался, схватил записку и ушел с ней в кузницу, чтобы прочесть ее там без помех.

«Баллы-ага!

Я получила твое письмо. Оно меня поразило. Ты — почтенный человек, отец семейства, а по возрасту годишься мне в отцы. Как могли притти тебе в голову гнусные мысли? Постыдился бы! Выкинь все это из головы. У меня есть друг, который служит в рядах Советской Армии, чтобы в любую минуту стать на защиту нашей любимой родины. Я дала ему слово ждать его возвращения. А тебе могу еще раз сказать только одно: стыдись!

Гюзель».

Баллы-мулла прочел эти гневные строки и с минуту стоял неподвижно, уставясь в одну точку. Красные отблески горна плясали у него в зрачках. Потом в дикой ярости он разорвал записку на мелкие клочки и бросил в огонь.

Подбежав к растворенной двери, он заорал:

— Пошла отсюда вон, чортова сплетница!

Но Нязик-эдже уже не было. Вместо нее Баллы-мулла лицом к лицу столкнулся с Муратом.

— Сегодня собрание правления колхоза, Баллы, — сказал Мурат. — И ты тоже должен на нем присутствовать.

Больше Мурат ничего не прибавил и ушел, но и этих слов было достаточно, чтобы вселить великий страх в сердце бывшего муллы. Вся спесь мигом с него слетела. Видно, немало грешков знал за собой Баллы!

«Ну, теперь мне крышка!» — пронеслось у него в голове. Он торопливо перебирал в памяти колхозников, стараясь найти такого, который мог бы за него заступиться, и не находил. Он запер кузницу и решил обойти подряд всех колхозников — сколько успеет до начала собрания.

Поздним вечером кузнец Баллы-мулла вышел из правления колхоза и поборел к себе домой. Если бы в эту ночь была луна, вы бы без труда убедились, что лицо

бывшего муллы утратило все свое самодовольство. Вероятно, оно было красным и потным, потому что он ежеминутно отирал рукавом лоб. Баллы-мулла брел, повесив голову, с трудом передвигая ноги, и беспрестанно останавливался. Казалось, он двигается только потому, что кто-то время от времени дает сзади ему пинка.

Войдя в свой дом, Баллы-мулла, вопреки обыкновению последних дней, не направился в свою одинокую комнату, а открыл дверь в другую, где Бибиджамал, уложив спать детей, сидела у огня.

Баллы-мулла переступил порог и, увидав удивленно поднятые брови Бибиджамал, неожиданно рухнул перед ней на колени.

— Ой, прости меня, Бибиджамал! — возопил бывший мулла. — Никого у меня нет на свете, кроме тебя. Я винюсь перед тобой! Ой, я винюсь перед тобой! Не гони меня! Я теперь буду любить тебя и беречь. Как зеницу ока беречь буду!

Так молил и причитал этот жалкий человек, но застывшее от обиды и одиночества сердце Бибиджамал не могло оттаять. Она сказала:

— Нет, Баллы, уходи. Мы были тебе не нужны, а теперь ты нам не нужен. Ты вел себя, как пвстоголовый мальчишка, отчего же это ты поумнел вдруг?

Баллы-мулла поднялся на ноги, он молчал, низко опустив голову. Потом подошел к стоявшим рядом детским кроваткам и снова упал на колени, уткнувшись лицом в одеяло.

Ребятишки проснулись. Широко раскрытыми, испуганными глазами они смотрели на мать, словно прося ее простить отцу его вину.

СЧАСТЛИВЫЕ

Повесть

Аннакули с детства был изрядным разиней. Не берусь объяснить вам, как это случилось. Отец его Берды-ага был почтенным колхозником, хлопкоробом, мать Айнабат-эдже славилась своим трудолюбием. А сынок — тьфу! И глядеть на него не хочется. И не то, что бы он был каким-нибудь там кривобоком, или горбатым, или попросту хилым. Нет, Аннакули вырос крепким, стройным мальчиком. Но движения его были вялы, на лице всегда лежало сонное выражение, руки беспомощно болтались вокруг длинного тела. Неряшливый, непричесанный, он ходил спотыкаясь, потому что тесемки у него на чарыках вечно были развязаны. И за что ни возьмется, бывало, все из рук валится. Недаром ребята прозвали его «з у в е т д и н», что означает в наших местах — р а с т я п а.

Эта кличка пристала к Аннакули после одного забавного происшествия на водопое. Как-то летним вечером, вернувшись с поля, почтенный Берды-ага кликнул сына:

— Садись-ка, мальчик мой, на коня да сгоняй его к колодцу. А то ведь конь с утра не поен.

Услышав это, наш Аннакули вытаращил на отца глаза. Всем своим видом он изображал возмущенное удивление.

Надо сказать, что до сих пор родители не обременяли Аннакули работой. Он был единственным сыном, и отец

с матерью, особенно мать, баловали его. Родительская любовь их была велика, но неразумна. Однако в последнее время поведение Аннакули стало внушать Берды-ага беспокойство. Особенно после того, как кто-то из стариков колхозников заметил ему однажды: «Все мы уважаем тебя, как доброго хлопкороба, друг Берды-ага, но, знаешь, вырастить сына — дело не менее трудное и не менее важное, чем вырастить хлопок...»

Неприятно было почтенному хлопкоробу слышать эти слова. Но он не мог не признать их правоты. И Берды-ага решил мало-помалу приохотить сына к труду.

— Ну же, ну, сынок, — говорил он, подталкивая Аннакули к старому смирному иноходцу, — в твои годы я был джигитом.

— Ой, отец, лучше я поведу его за повод, — захныкал сын. — Я же никогда не ездил верхом.

— Ничего, ничего, чтобы узнать вкус лепешки, надо ее отведать. Для того, чтобы поехать верхом, надо сесть на коня.

С этими словами Берды-ага распутал стреноженную лошадь и надел на нее недоуздок. Потом он дал Аннакули ведро с длинной веревкой. Но Аннакули продолжал нерешительно топтаться возле лошади.

— Какой же ты туркмен, коли боишься коня! — сердито сказал отец.

Он поднял своего великовозрастного сына и не без труда посадил его на седло. Да еще стегнул лошадь концом веревки. Лошадь побежала мелкой рысцой. Это был спокойный и умный старый конь. Чувствуя на себе неопытного седока, он бережно нес его на своей широкой спине.

Но Аннакули казалось, что он сидит на шаре, смазанном салом. То он валился коню на шею, то съезжал на правый, либо на левый бок. Кое-как добрался до колодца, который находится на восточном краю нашего аула. Здесь конь остановился сам, и Аннакули сполз с него.

Нехитрое, кажется, это дело — набрать воду из колодца, но балованный парень не был и к этому приучен. Пока он вытаскивал ведро, вода почти вся расплескалась. Насилу Аннакули напоил коня. Потом он стал взбираться на него. Однако это уже вовсе оказалось ему

не под силу, несмотря на то, что терпеливый конь стоял как вкопанный. Аннакули карабкался на коня, как на отвесную скалу, но обрывался и падал.

Проклиная ни в чем не позинного коня, стоял наш растяпа и думал, как же ему быть. Он боялся, что отец будет его бранить, если он приведет коня на поводу.

А в это время к колодцу подъехал старый колхозник. Аннакули взмолился:

— Милый Мерген-ага, я, видно, заболел, даже на коня сесть не могу, пожалуйста, посади меня!

— А что с тобой? — забеспокоился старик.

— Ой, не знаю, простудился, верно, а может, сырую лепешку съел, — залепетал Аннакули.

Мерген-ага удивленно посмотрел на юношу, но посадил его.

Обратный путь поначалу протекал благополучно. Конь шел шагом. Аннакули приободрился, даже, подбоchenился, горделиво поглядывая на ребят, игравших на улице. Вот, мол, какой я джигит! Он расхрабрился до того, что стал натягивать повод и небрежно похлопывать коня по шее. Умный иноходец не обращал никакого внимания на эти телодвижения, очевидно, занятый одной мыслью: как бы доставить благополучно «джигита» до дому. Впрочем, стоило коню насторожить уши или тряхнуть гривой, как у бедного Аннакули душа уходила в пятки и холодный пот выступал на лбу.

Но тут случилось непредвиденное обстоятельство: у входа в одну кибитку мирно дремала рыжая собачонка, совсем маленькая и довольно добродушная, но, как видно, с сильно развитым чувством долга. По правде сказать, больше всего в эту минуту собачке хотелось спать. Однако пропустить проходящую мимо лошадь было бы нарушением всех собачьих правил. Песик пустился за конем Аннакули, лениво полаивая, и нехотя вцепился коню в хвост.

Старый конь мог вынести многое. Но он терпеть не мог, когда его дергали за хвост. Он лягнул собачку задними ногами и пустился вскачь.

Аннакули вне себя от страха бросил уздечку и ухватился одной рукой за луку седла, другой за гриву. Он орал истошным голосом:

— Люди добрые, поддержите меня!.. Пропал, пропал!.. Позовите маму!

Сбежались ребята со всей улицы. С хохотом они окружили Аннакули, подстегивали лошадь и кричали:

— Давай, Аннакули! Гони вперед! Выходишь на первое место! Ай да растяпа!

А лошадь прямой дорогой пришла домой к себе в стойло.

Вот с тех пор за Аннакули и утвердилась кличка: растяпа.

Однажды Аннакули собрался на охоту. До той поры он никогда не стрелял из ружья. Но ему хотелось доказать ребятам, что он не такой уж неловкий парень, каким его все считают. Улучив момент, когда ни Берды-ага, ни Айнабат не было дома, Аннакули снял со стены отцовскую двустволку и предложил соседскому мальчику Джумаджику пойти в камыши стрелять фазанов.

Хороша охота в наших местах! Густые заросли полны птичьего гама и клекота. Сквозь зеленый камыш нежно проглядывает солнце. Журчит вода. Воздух чист и пахуч. Если вы имеете страсть к охоте, да меткий глаз, да твердую руку, да хорошее ружьецо, приезжайте к нам в село и ступайте с утра в камышковые заросли. К вечеру вернетесь с приятной усталостью в теле и с сумкой, полной пестрых увесистых фазанов.

У нас много хороших стрелков, и ребята наши сызмала приучены к ружейной охоте. Отличался в ней и Джумаджик. Да вот беда: не было у него своего ружья. Стал он просить друга:

— Милый Аннакули, дай выстрелить разок. Да и тебе полезно: посмотришь, как надо бить птицу.

— Подумаешь, он меня учить будет! — заносчиво ответил наш «растяпа». — Тебе мое ружье не по руке. Оно с сильной отдачей, свалит тебя с ног. Только мне под силу справиться с таким ружьем.

Говоря так, выступал он важно и палец неотрывно держал на курке.

В это время что-то большое и пестрое, громко хлопая крыльями, с шумом вылетело из камышей. Аннакули

испуганно прынул назад. Палец его непроизвольно дернулся и ружье выстрелило. От этого Аннакули испугался еще больше и выронил ружье.

— Что это? — в ужасе вскрикнул он.

Джумаджик рассмеялся и схватил ружье.

— Мой фазан! — крикнул он, указывая на медленно улетающую вдаль тяжелую красивую птицу.

Он быстро приложился и выстрелил, целясь птице в хвост. Фазан перевернулся в воздухе и рухнул в камыши.

Аннакули, повесив голову, брел за товарищем. Потеряв всякий интерес к охоте, он и сам не понимал, как это он мог так перепугаться? Подумаешь: взлетела какая-то птица!

А Джумаджик то и дело стрелял, и почти каждый выстрел приносил ему добычу.

Когда они возвращались домой, Аннакули сказал робко:

— Джумаджик-джан, будь мне другом, не рассказывай никому про мою ошибку. Я и сам вижу: уродился я каким-то неловким, да и прихвастнуть люблю...

Глянул Джумаджик на приятеля и видит, что у него слезы на глазах. Стало Джумаджику жалко его, положил он ему руку на плечо и сказал:

— Слушай, друг, я дам тебе совет. Ты сможешь осилить свои недостатки, если перестанешь быть таким заносчивым и не будешь чураться ребят. А мы тебе поможем.

С той поры, о которой я вам рассказываю, уже много воды утекло. В конце концов Аннакули переменился и стал другим человеком. Но история о том, как мальчик из нашего аула потерял голову от страха при виде вылетевшего из камышей фазана, до сих пор передается из уст в уста в наших местах. Ее можно услышать повсюду, где только собирается большая компания: ее любят рассказывать степные пастухи, собравшись вокруг ночного костра, и сборщики хлопка в полевой столовой, и мальчишки, когда они, пригнав коней на водопой к большим колодцам, стараются поразить друг друга смешными, страшными или трогательными историями.

Осенью приступили к сбору хлопка. Не знаю, бывали ли вы в эту пору в наших краях? Ах, какие это дни! Необыкновенное приподнятое настроение владеет людьми. Жара еще не спала. В домах и кибитках спать душно. Люди укладываются во дворах. Да и спать-то нет времени. Ночь коротка. Только померкнет огромное сияющее небо, и солнце, приняв тускло-медный оттенок, опустится за край бело-розовых полей, а тут, глядишь, уже и светает. Да и не до сна, честное слово!

Еще не рассвело, а там и сям уже начинают трезвонить будильники, поставленные колхозниками у своих изголовий. Мелодичный звон идет по селу. Люди вскакивают: до выхода в поле еще добрый час, есть время заняться домашними делами.

Поднялась и Айнабат. Поглядела на сына. Аннакули и не думал просыпаться — накрылся с головой одеялом и солидно похрапывал. Конечно, будь дома Берды-ага, он не стал бы в такую пору чиниться с сонливым сынком, а тотчас разбудил бы его, но Айнабат-эдже всегда делала поблажки сыну. В ее глазах этот здоровенный, мускулистый увалень, у которого уже начали пробиваться усы, все еще оставался маленьким мальчиком.

Но, как на грех, Берды-ага еще накануне уехал на молотьбу пшеницы. А мать подумала: «Пусть сынок подремлет. А я пока приготовлю завтрак. Ишь, как он сладко спит! Нехорошо тревожить детский сон. Этак недолго и испугать ребенка...» И она с нежностью посмотрела на Аннакули, храпевшего заливистым басом.

Быстро поставила Айнабат-эдже на огонь сытный завтрак, подоила корову, прибрала комнаты, накрыла на стол, разложила по тарелкам пищу. А Аннакули все спал.

Уже первые лучи брызнули из-за горизонта. Длинные тени пошли по двору. Гортанные крики петухов, блеяние овец, мычание коров, гомон птиц возвестили о начале дня. На улицах слышались торопливые шаги и веселые голоса колхозников, спешивших в поле.

Мать поела одна. Потом тревожно глянула на часы. Больше ждать было нельзя. Айнабат-эдже дорожила

своей честью знатной колхозницы, она шла в первых рядах сборщиц хлопка.

Подойдя к сыну, спавшему, как дыня на солнцепеке, мать нежно положила руку ему на плечо.

— Вставай, мальчик. Гляди, люди уже выходят на работу. Вставай, сердце мое. Умывайся. Я тебе подогрела воду. Завтрак в сачаке прикрыт, чтоб не остыл. А я пойду. Догонишь меня на дороге в поле.

Аннакули с трудом разодрал глаза и что-то неопределенно хмыкнул. Мать любовно поцеловала его в лоб и поспешила в поле.

Аннакули посмотрел ей вслед. Глаза его были мутны, в них клубился туман сна. Вряд ли он слышал хоть слово из того, что сказала ему мать. Он только что видел приятное видение и снова зарылся с головой в подушку с твердым намерением досмотреть свой сладкий сон.

Когда он открыл глаза и осоловело поглядел вокруг, солнце уже высоко поднялось в чистом небе. Аннакули и проснулся от того, что оно припекало ему голову... Он вскочил. Испуганно посмотрел на часы: ой, как поздно!

Он быстро скатал постель и швырнул ее в дом. Потом наскоро умылся — словно кошка лапой, обтер лицо ладонью и воздал должное материнским заботам и зеленому чаю. Только после этого пошел он в поле.

Когда Аннакули появился на хлопковом поле, сборщики встретили его громкими возгласами:

— Вай, глядите-ка! Сам Аннакули-хан почтил нас своим посещением!

— А на что он нам? Сидел бы уж лучше дома...

— Эй, *Растяпа*, подбери штаны!

— Аннакули, не подходи к хлопку, там фазаны!..

А люди посолидней, качая головой, добавляли:

— Какое огорчение для славного Берды-ага и почтенной Айнабат иметь такого нерадивого сына!

— Да, дерево пошло расти не в ствол, а в сук, да еще кривой...

Среди этого града насмешек и укоров Аннакули брел, повесив голову.

Когда он приблизился к кусту хлопчатника, подле которого работала мать, она прошептала гневно:

— Нет у тебя ни стыда, ни чести, Аннакули! По твоему подбородку уже скучает бритва, а ты только в полдень пришел на работу! Видно, ты хочешь свести меня в могилу. Ну, скорей же принимайся за дело, да постарайся наверстать упущенное и догнать товарищей.

Но где ж было Аннакули поспеть за другими, если руки его двигались с медлительностью часовой стрелки, а спина сгибалась так туго, словно была сбита из толстых досок. Нехватало Аннакули и навыка в работе. Догонять и перегонять он умел только во сне или в заносчивых своих мечтах. Возле четырех кустов хлопчатника возился он около часу. Неловкие пальцы его не умели как следует обращаться с коробочками хлопчатника. А как попал он в прохладную тень развесистого куста, так и застрял там так прочно, что товарищи по бригаде еле-еле его оттуда выгнали. Мудрено ли, что мешок его почти не наполняется!

Разумеется, не все сборщики работали с такой невиданной быстротой, как Мурад, или Джумаджик, или дочь Хан-ага, Алтын. Однако не было в нашем селе отстающих. И когда на поле пришел табельщик, чтобы объявить итог работы за неделю, все мы с легким сердцем окружили его. Один только Аннакули был точь-в-точь как тот бычок, которого гонят домой с базара, не сумев продать.

Табельщик вогласил:

— Мамед — восемнадцать трудодней...

Вздых восхищения прошел по рядам.

— Джумаджик — семнадцать трудодней, Эне, жена Анна, — семнадцать, Айнабат, жена Берды-ага, — шестнадцать с половиной, Алтын — шестнадцать трудодней...

Аннакули искоса посмотрел на Алтын. Высокая, стройная девушка весело улыбалась. Она показалась Аннакули такой красивой, что он даже зажмурил глаза, словно взглянул на солнце. И мечты, приятные, медлительные мечты снова овладели бедным *растяпой*. Он уже не видел ни поля, ни хлопчатника, не слышал голоса табельщика, от которого не ждал для себя ничего хорошего. Ему грезилась благоухающая тенистая аллея, и он идет там рука об руку с Алтын...

Мечтания его были прерваны жестким голосом табельщика, который нарочно промко и медленно произнес:
— Аннакули, по прозвищу *Растяпа*, сын Берды-ага и Айнабат-эдже...

Тут табельщик немного помолчал и вдруг выпалил:

— Полтора трудодня!..

Грянул дружный смех. Послышались восклицания:

— Выдать охотнику на фазанов значок почетного лентя!

— С такими трудоднями Аннакули — самый завидный жених на селе!

Опустив голову, Аннакули побрел домой. По дороге его обгоняли колхозники. Слышались оживленные разговоры, смех. И все это проходило мимо сознания Аннакули, как сверкающие воды реки обтекают, не останавливаясь, одинокий замшелый камень.

Вот прошла ссутулившаяся, огорченная Айнабат-эдже и не заметила сына. Ее догнал, прихрамывая, старик Акмамед. Он сурово сказал женщине:

— Имей я такого сынка, я промерил бы его рост палкой — от затылка до пят.

— Нет, Акмамед, — печально сказала мать, — верно, сами мы виноваты, что не сумели воспитать свое дитя в любви к труду. Мы хотели, чтобы он был счастливым. Но лень и баловство не приносят счастья...

Аннакули слышал эти грустные слова и ему стало очень горько.

Прошло несколько месяцев после описанных выше событий. Как-то раз Аннакули сидел один дома и размышлял о своей жизни. Постепенно в нем созрело решение: уйти из родного аула. Не навсегда, конечно, — на время, и вернуться через несколько лет другим человеком — храбрым, ловким, энергичным, находчивым, умелым, образованным. Для этого, по мнению Аннакули, существовало два пути: пойти на железную дорогу рабочим, либо отправиться в город учиться.

Пока наш бедный Растяпа размышлял таким образом, сидя у окна и подперев щеку кулаком, вошел письмоносец и, положив на стол пакет, удалился.

Аннакули разорвал конверт, прочел бумагу, и глаза его радостно засверкали. Вот лучший выход из положения! Сама судьба приходила к нему на выручку: Аннакули получил повестку о призыве в Красную Армию. Он быстро вскочил, пригладил пятерней нечесаную голову и побежал в сельсовет.

Когда он вернулся домой, отец и мать, сидя в тени старого дерева, пили чай. Аннакули сразу объявил им:

— Меня призывают в армию. Завтра я отправляюсь на призывной пункт для освидетельствования.

Мать встала и подошла к сыну. Он стоял перед ней, как молодой карагач, широкоплечий, широкогрудый, с крепкими мускулистыми руками.

— Для освидетельствования? — с тревогой переспросила она. — А вдруг врачи найдут, что ты негоден?

— Не говори глупостей, о, женщина! — сердито возразил Берды-ага. — Наш сын здоров и крепок, только оброс жиром, как праздничный гусь. Служба в армии сгонит с него жир, зато прибавит ему силы и ума. Посмотри, каким молодцом вернулся из армии сын Ата-Дурды. За два года он познал столько наук, что сейчас читает и пишет так же, как пьет воду. Вот и наш мальчик тоже станет в армии достойным мужчиной. Он и сам мечтает стать защитником нашей советской родины. Это для него и честь и польза. Не правда ли сынок?

— Да! — с необычной для него твердостью ответил Аннакули. — Мама, завтра я встану до зари, потому что с рассветом мы отправляемся на призывной пункт.

И — неслыханное дело! — в небе еще не померкли звезды, а Аннакули был уже на ногах. Наскоро позавтракав, надев праздничную одежду, которая слежалась от долгого пребывания в сундуке, Аннакули скорым шагом направился к сельсовету. Здесь вместе с остальными ребятами он сел в автобус и поехал в районный центр. По дороге все пели песни.

К вечеру Аннакули вернулся домой.

— Ну, — объявил он, переступив порог, — поздравьте меня: я принят в ряды Красной Армии, — и с важностью прибавил:

— Мне дали три дня для устройства личных дел.

Берды-ага подошел к сыну и в первый раз поглядел на него как на взрослого.

— Поздравляю тебя с исполнением твоих желаний, сын мой, — сказал он. — Не посрами же там, в армии, честь нашей семьи и родного села. Помни, что служба в Красной Армии много дает, но многого и требует.

А мать сказала:

— Тяжело мне будет не видеть тебя два года, Аннакули-джан. Но ведь, если б тебя не взяли в армию, — это было бы совсем плохо. Ведь это означало бы, что ты болен, — вот как бедный Овез, который так близорук, что не различает пальцы на собственной руке. А ты, сыночек, крепок и силен и отслужишь военную службу с пользой для родины и с почетом для себя и для всех нас.

Так говорила мать, а Берды-ага одобрительно кивал головой, слушая ее умные слова. Пока ездил сын на призывной пункт, долго толковал с женой старый Берды-ага, внушая ей, что она не должна подрывать в мальчике веры в свои силы. Но невысказанные сомнения все же терзали материнское сердце Айнабат-эдже. Она знала, как неловок ее сын, сколько заносчивости живет в его душе и как часто припадки необъяснимой лени сковывают его молодое тело. «Какой это будет позор, — думала Айнабат-эдже, — если Аннакули исключат из армии за неспособность..» Но она ничем не выдала своих тревожных мыслей и держалась уверенно и радостно.

Быстро пролетел трехдневный отпуск Аннакули, и на заре четвертого дня наш призывник связал вещи в узелок, нацепил его на палку и покинул родное село, сопровождаемый добрыми пожеланиями одних и насмешливыми напутствиями других.

Отъезд Аннакули вызвал у нас в селе разные толки. Джумаджик горячо уверял, что в Красной Армии хорошие задатки Аннакули возьмут верх над его дурными привычками. И многие в этом были согласны с ним. Мудрый Керим-ага, председатель нашего сельсовета, уважаемый всеми за честную жизнь и справедливость, был убежден, что Красная Армия сумеет выковать в Аннакули смелый нрав, острую мысль и любовь к труду.

А некоторые, в особенности же Мамед, уважаемый не менее, чем Керим-ага, за свое высокое искусство хлопко-роба и находчивую речь, утверждал, что Растяпа останется Растяпой и что не пройдет и недели, как неудачник с позором приковыляет обратно в село, изгнанный из армии за трусость и неизлечимую страсть к хвастовству. И это ляжет темным пятном на доброе имя нашего колхоза.

Что же касается дочери Ага-хана, прекрасной Алтын, то она не присоединялась ни к одному из этих мнений. Она хранила молчание, и никто не знал, что она думает и почему так грустны ее глаза, красивые, как звездная ночь.

Полк, в который был зачислен Аннакули, стоял в красивом здоровом оазисе, орошаемом притоком большой реки.

Посреди сочной зелени протянулись ровные ряды палаток. На берегу круглого озера расположился спортивный городок и водная станция.

Сюда направилась колонна призывников, в которой находился и Аннакули. Его рослая фигура возвышалась во второй шеренге. Шагал он с развалыдем, как чабан, и товарищи то и дело подталкивали его, шепча, чтобы он шел в ногу.

Старшина, который вел колонну, остановил ее неподалеку от озера.

— Вольно! — скомандовал он. — Разойдитесь!

И прибавил:

— Только далеко не уходите, ребята, скоро я вас в баню поведу.

Призывники разбрелись. Многие ложились на траву и отдыхали. Но Аннакули остался стоять, уперев руки в бока, и с интересом наблюдал происходящее вокруг. Столько диковинных вещей здесь было!

Вот несколько солдат, один за другим, прыгают через странный предмет, обтянутый кожей и напоминающий по форме осла. Солдаты эти скинули гимнастерки и остались в опрятных синих майках. А на ногах у них не сапоги, а легкие туфли. Вот поодаль другая группа солдат играет в футбол. Игра эта была Аннакули знакома. У

них на колхозном стадионе тоже играли в футбол, только Аннакули не принимали в эту игру, потому что он не хотел подчиняться ее правилам. Вот в саду под деревом другие солдаты читают газету. Среди них командир. Почитав немного, солдаты задают командиру вопросы, и он им что-то отвечает. Дальше за длинным столом бойцы быстро и ловко разобрали свои винтовки и принялись смазывать их. В другом конце площадки несколько верховых прыгали через барьеры. И дальше по всему учебному полю были разбросаны группы солдат. Одни маршировали, другие делали ружейные приемы, третьи ползали, потом вставали, бежали и снова ложились. Откуда-то из-за рощи доносилась стрельба.

Аннакули было очень интересно смотреть на все это. Особенно поражала его быстрота, четкость и легкость, с какой солдаты совершали все эти разнообразные действия. И грустно стало Аннакули. Он подумал: «Ну где же мне сравняться с этими ловкими солдатами? Я неуклюж, малограмотен, я боюсь коня, боюсь ружья».

В это время к Аннакули подошел один из призывников. Он положил руку на плечо Аннакули и сказал, словно угадав его мысли:

— О чем задумался, друг? Будь покоен, и мы станем не хуже этих бравых солдат. Армия сделает нас настоящими людьми — сильными и ловкими, мужественными и сознательными. Но, конечно, нужно, чтобы было у нас в сердце горячее к тому стремление... Нужно над собой работать.

И от этих участливых и добрых товарищеских слов Аннакули сразу повеселел.

Вскоре призывников повели в баню. Помывшись, Аннакули не нашел одежды. Вместо нее ему выдали военную форму. Непривычно было Аннакули ступать в высоких сапогах. Непривычно было, проводя рукой по голове, ощущать вместо тяжелой копны спутанных волос низенький колючий ежик. Подпоясавшись и посадив на голову пилотку, он подошел к большому зеркалу, стоявшему в предбаннике, и радостно засмеялся. Неужто этот ловкий щеголеватый солдат — это он сам, Аннакули?

Но тут к Аннакули подошел старшина и, внимательно оглядев его, сказал строго:

— Товарищ Аннакули, вы оделись небрежно. У вас вид старой бабы, а не советского воина. Почему ремень под животом? Поднять его да подтянуть дырочки на три. А что это за горб у вас на спине? Одерните гимнастерку как следует. Да сдвиньте-ка пилотку назад, это все-таки головной убор, а не очки.

Говоря так, старшина ловкими движениями оправлял на Аннакули одежду.

— Ну вот сейчас у вас, примерно, солдатский вид, — сказал он, удовлетворенно оглядывая Аннакули. — Запомните мои указания. В следующий раз за неаккуратный вид буду строго взыскивать.

Старшина говорил суровым тоном. Но Аннакули не чувствовал страха. Он ощущал в словах начальника отеческую заботу.

Это чувство еще больше усилилось, когда вечером Аннакули указали его место ночлега. Это была кровать с мягким матрацем, аккуратно застланная свежим бельем.

Правда, наутро Аннакули получил еще два выговора. Первый за то, что он не захотел встать по команде «подъем», а по скверной привычке, усвоенной дома, вознамерился спать до полудня. Второй выговор пришлось услышать Аннакули, когда старшина проверял, как застланы койки.

— А ну-ка, перестелите, — скомандовал старшина. — У вашей койки такой вид, как будто на ней всю ночь резвились кошки.

А днем он заработал еще один нагоняй. Это было после строевых занятий, перед самым обедом.

— Покажите руки, — сказал ему старшина. — Так. Не мылись? Немедленно под душ!

Так постепенно Аннакули усваивал первые правила военного распорядка. Нельзя сказать, чтобы ему приходилось легко. Например, только с немалым трудом отучился он зажмуривать оба глаза при стрельбе. Тяжело давалась ему и верховая езда. Нелегко было осилить грамоту. Но он работал с охотой и постоянно чувствовал

на себе неусыпную заботу командиров и товарищеское внимание солдат, чувствовал себя членом одной большой, дружной семьи.

Так прошло несколько месяцев. В селе не имели никаких сведений об Аннакули. Он домой не писал, и все считали это вполне естественным, зная, что парень был малограмотен.

Но вот однажды почтенный Мерген-ага поехал навес-
тить своего сына, который служил в той же воинской части, что и Аннакули. Вернувшись, он рассказал, что видел Аннакули. Вот как это было.

Расцеловавшись с сыном и передав ему колхозные гостинцы, Мерген-ага стал расспрашивать парня о его житье-бытье, и Атагельды рассказал отцу, как живут солдаты, как они совершенствуются в военном искусстве, как просвещаются политически, как приобретают знания в различных науках, как отдыхают и как укрепляют свое тело спортивными играми и физическими упражнениями.

Потом с разрешения начальства он провел отца в казарму — высокое светлое помещение, установленное рядами опрятных коек. Возле пирамиды с винтовками стоял дневальный, проверяя, хорошо ли вычищено оружие. Он издали поглядывал на Мерген-ага. Казалось, ему хочется подойти к старику, но он сдерживает это желание, чтобы не помешать беседе отца с сыном.

Все, виденное в полку, восхитило Мерген-ага. Он сказал сыну:

— День клонится к вечеру, мальчик мой, и подходит пора нам расставаться. С легким сердцем покидаю я тебя, ибо вижу, что ты находишься в хороших руках. Душа моя радуется за тебя. Ты на верном пути, сын мой. А приложишь старания, так подымешься еще выше по лестнице воинских заслуг и станешь таким же бравым солдатом, как тот, что сегодня дневалит...

— Как тот, что дневалит? — удивленно переспросил Атагельды. — А разве ты не узнал его?

Дневальный в это время приблизился к ним.

— А я вас сразу узнал, дядя Мерген-ага, — сказал он, широко улыбаясь. — Ну как там все наши? Как поживает почтенная Гюзель-эдже? Как мои старики?

Мерген-ага смотрел на дневального, удивленно моргая глазами.

— Ведь это Аннакули, — пояснил сын.

— Какой Аннакули? — переспросил ошеломленный старик.

— Наш Аннакули, сын Берды-ага и Айнабат-эдже.

— *Растяпа?* — воскликнул Мерген-ага.

Хоть Аннакули и был смугл да еще вдобавок загорел, все же было видно, как легкая краска проступила на его щеках. А Атагельды сказал с досадой:

— В нашем полку нет никаких *растяп*. А есть солдат Аннакули, отличник стрельбы и лучший боец пулеметного взвода.

Мерген-ага продолжал вглядываться в дневального и, наконец, узнал в нем Аннакули, как в молодом расцветшем дереве узнают неясные черты того хилого ростка, из которого оно выросло.

С искренней радостью приветствовал он Аннакули.

— Прости мне мое простодушное удивление, — сказал старик, сердечно пожимая руку бывшему Растяпе, — прими его как горячее поздравление с необыкновенными успехами твоими. Такое же удивление и такая же радость будут царить в твоём родном доме и во всем нашем селе, когда я вернусь и расскажу, каким я тебя увидел.

Но в этом Мерген-ага несколько просчитался. Далеко не все в селе поверили его рассказу о чудесном превращении Аннакули! Не поверили даже тогда, — сейчас, конечно, об этом и вспомнить смешно! — когда Аннакули прислал из полка свое первое письмо в родное село. И мало того, что сами не поверили, — сумели расшатать уверенность, зародившуюся было в юном сердце Алтын, прекрасной дочери Хан-ага. Здесь особенно постарался некий Ходжакули, имевший свои виды на Алтын.

Письмо это, в синем конверте, принес однажды вечером мальчик-письмоносец. Он извлек его из большой пачки газет, от которой раздулась его сумка.

Айнабат только что подоила корову и с ведром молока направилась к дому. Берды-ага в это время задавал корм коню.

Увидев синий конверт с печатью полевой почты, оба они бросили свои занятия. Берды-ага водрузил очки на свой массивный нос и принялся за чтение:

«Да будет много-много приветствий от Аннакули, сына Берды-ага, дорогой маме и отцу и еще всем братьям, родичам и друзьям! Здоровье мое в полном порядке, чего и вам всем желаю. Живу я хорошо, интересно, хотя много работаю, но эта работа мне в радость. Я не хотел писать вам, пока не добьюсь успехов в учебе. И кроме того, мне хотелось проверить себя в осенней стрельбе. Сейчас стрельба прошла, а также маневры и военные игры, и я получил благодарность от начальства.

Также не хотел вам писать, пока не добьюсь успехов в рубке лозы, владении пулеметом как ручным, так и станковым, а также в политучебе. Теперь смело могу сказать, что во всем этом не отстаю от товарищей. И не думайте, дорогие родители, что это пустое хвастовство.

Также не хотел писать вам, дорогие родители, пока не овладею как следует грамотой. Теперь вы видите, что я ею овладел, поскольку это письмо я пишу вам своею собственной рукой.

И есть у меня еще одна новость. И это самая главная новость. И о ней я вас с радостью извещаю. Дорогие родители, я принят в славные ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Теперь вы не будете краснеть за меня. Я вступил на новый путь жизни. И только об одном жалею и не перестану никогда жалеть — о том, что несколько лет провел в полусне безделья. Ну да, я это наверстаю, вот увидите!

Напишите мне, что делается у нас в колхозе. Как хлопок, как зерновые? Огородничество и бахчевые культуры меня не так беспокоят, они у нас не являются решающими участками. Что сделано по линии мелиорации? Как подвигается строительство электростанции? Не откажите привести цифры, а также фамилии выдающихся передовиков. Каких успехов, например, достигла Алтын? На основании вашей информации я сумею сделать доклад о

работе в нашем колхозе. До свидания, процветайте в здоровье и в работе. Ваш сын Аннакули. 1932 год, 7 июля.»

Два года — срок невеликий, но и немалый. Много раз за это время полная луна прокатывается по высокому небу. Много раз гаснут и зажигаются звезды. Прыткие, брыкливые жеребята вырастают в добрых коней. Тучнеют поля, обводняются пустыни. Провода электростанций забираются в самые отдаленные села.

Почтенный Берды-ага привел к колодцу корову, чтобы напоить ее. Уже вытягивал он последнее ведро, когда предстал перед ним высокий, стройный молодец в военной форме.

— Здравствуй! — молвил человек, протягивая руку.

— Здравствуй, незнакомец, — учтиво отвечивал Берды-ага. — Здоров ли? Благополучен ли? Надолго ли в наши края?

— Навсегда, отец, — ответил юноша смеясь.

Берды-ага вскрикнул:

— Аннакули!

И они обнялись.

Рассказывают, что Берды-ага долго корил себя за то, что не узнал сына. Но можно ли его в этом обвинить?! Мудрено было в этом ловком, ладном парне узнать того, кто еще два года назад был рыхлым, как мешок с соломой, словом — Растяпой.

Но материнское сердце не ошибается. Только подошли Берды-ага и Аннакули к родному дому, как оттуда выбежала Айнабат.

— Мальчик мой! — вскрикнула она и бросилась сыну на шею.

А ведь в последний год зоркие когда-то глаза Айнабат стали сдавать.

— Как же ты так быстро узнала его? — удивился Берды-ага.

— По шагам, — ответила мать.

Много радости, ликования было в тот день в доме Берды-ага. Приходили соседи, знакомые. Можно сказать, что все село прошло через дом Берды-ага. Был и я там и могу поклясться, что самые заядлые маловеры, вроде,

например, Мамеда, признали достоинства Аннакули. Попробовали бы не признать! Это все равно, что, глядя на молодое деревцо в цвету, утверждать, что перед нами сухая жердь.

Сын Берды-ага был красивый юноша с живыми, умными глазами, почтительный со старшими, дружелюбный с равными, обходительный с младшими. Речь его была толкова и содержательна. В ней сказывались его многочисленные познания в различных областях. И при этом — никакой похвальбы, ибо юноша держался хоть и с достоинством, но скромно. Он отнюдь не притворялся всезнайкой и, когда чего-нибудь не знал, откровенно признавался в этом и с охотой прислушивался к поучениям и советам более опытных людей.

И почтенный Берды-ага и добрая Айнабат не могли нарадоваться на своего сына, которого Красная Армия сделала настоящим человеком.

По возвращении в родной аул Аннакули не сидел без дела. Он сразу принял участие в работе комсомольской организации, старался ознакомиться с работой сельсовета. А когда было у нас в день годовщины Великой Октябрьской революции общеколхозное собрание, взял слово и Аннакули и так хорошо, складно и задушевно говорил о тяжелом дореволюционном прошлом нашего народа, о нашей теперешней счастливой, зажиточной жизни и о стоящих перед нами задачах, что вызвал единодушное одобрение всех колхозников. «Да, Советская Армия сделала передового человека из нашего *Растяпы*» — говорили друг другу и старики, и молодежь. А Айнабат, сидя неподалеку от трибуны, с горделивой улыбкой поглядывала на сына.

Через несколько дней председатель нашего сельсовета Керим-ага спросил Аннакули:

— Отдохнул?

— Уже начал даже уставать от отдыха, — ответил Аннакули улыбаясь.

— Каковы же твои дальнейшие планы? Может быть, тесно тебе в родном гнезде? Может быть, хочешь покинуть нас?

— Нет, Керим-ага, — сказал серьезно Аннакули. —

Никуда я уезжать не намерен, а хочу остаться и работать здесь, в нашем родном колхозе.

С огромным удовольствием выслушал Керим-ага эту речь и сказал:

— В таком случае поработай бригадиром третьей бригады. Там тебе по работе скучать некогда будет. Справишься — народ подымет тебя еще выше.

Третья бригада была отсталая, хоть в ней и много было хороших сборщиков хлопка. Старый бригадир ее Пома не справился с работой. Был он малограмотен и мечтал об учебе. Желание его исполнилось. Обсудили мы этот вопрос и послали Пома в Ашхабад на двухлетнюю учебу. Теперь ведь каждый колхоз стремится воспитать собственных специалистов. Судите сами: колхозу нужен и электрик, и мелиоратор, и гидроинженер, и специалист по автоделу... да мало ли кто еще!

Третья бригада соревновалась со второй. Вторая бригада была не из слабых. Достаточно сказать, что там работали такие выдающиеся сборщицы, как Джерен и Алтын.

Все же в этой бригаде случился прорыв. Тогда Аннакули сказал своим сборщикам:

— Товарищи, хотя мы и соревнуемся со второй бригадой, однако ее отставание — это удар по всему колхозу. Давайте — пойдем, поможем ей.

Все с ним согласились. Третья и вторая стали работать вместе. Так Аннакули встретился с Алтын. Произошло это в полдень, когда бригады прекращают работу, чтобы позавтракать.

Напившись чаю, Аннакули вынул папироссу и поглядел на часы. Увидев, что до конца перерыва остается еще минут десять, он отправился к большому кустарнику, чтобы полежать и покурить в тени.

Но сделать ему это не удалось. В тени куста уже расположились Алтын и Джерен и попивали чай.

Аннакули стал в сторонке и молча посмотрел на Алтын. Он дивился ее расцветающей красоте. «Она сверкает, как камень-самоцвет, — подумалось ему. —

Всем взяла девушка — и работой, и красотой, и характер добрый...» И какая-то непривычная нежность захлестнула душу Аннакули.

Но он не подошел к Алтын, а подсел к Джерен-эдже. Улыбнувшись, он сказал ей:

— Эх, тетя Джерен, я вижу ты выпила одна весь чай и даже не подумала обо мне.

Джерен-эдже еще была далеко не стара. Она недавно вышла замуж за Куллы, сторожа колхозных амбаров.

Умная Джерен быстро поняла шутку молодого бригадира и, лукаво посматрив в сторону Алтын, сидевшей так невозмутимо, как будто бы она ничего не слыхала, приветливо ответила Аннакули:

— Вай, Аннакули! А мы и не подумали, что ты захочешь с нами чай пить. Садись, пожалуйста. Последний чай — другу, как говорится, — прибавила она, наливая пиалу и подавая ее Аннакули.

Тот бережно принял из рук Джерен-эдже пиалу и повернулся так, чтобы ему лучше было видно красавицу Алтын.

И только тут он заметил, что неподалеку от нее сидит Ходжакули.

Ходжакули мрачно посмотрел на Аннакули. Это сперва удивило Аннакули, но потом он вспомнил, что в селе давно уже поговаривали о безнадежной любви Ходжакули к Алтын. Трижды он посылал сватов к ее родителям, но девушка всякий раз находила предлоги отклонить предложение этого угрюмого и нелюдимого юноши. Он же ходил за ней следом и мрачнел, словно туча, когда кто-нибудь из мужчин приближался к Алтын. И не раз даже завязывал ссоры с парнями и лез в драку.

Это возбуждало недовольство в колхозе. У нас народ мирный, и хоть себя в обиду не даст, но без нужды применять силу не любит. Пуще же всего не терпят у нас хулиганства.

Но не это одно восстанавливало колхозников против Ходжакули: в работе, правда, он был не из последних, но любил он распускать сплетни о людях, и сплетни

иной раз довольно злобные и не раз заводил в бригаде склоки.

Казалось, хлебом его не корми, а дай ему поссорить людей. Замечено было также, что он всякими способами ускользал от участия в различных общественных мероприятиях.

Сильно все это не нравилось людям, и они говорили: — Недостойно ведет себя Ходжакули. Видно, судьба его отца не послужила ему уроком. Что ж, если человек отворачивается от общества, то общество сумеет обойтись без него...

Отец Ходжакули был до революции баем. Давал деньги в рост и за долги отнимал у бедных дайхан их нищенские наделы. Много горя причинил он народу, не пощадил даже родного брата, бедняка, который сейчас у нас работает заведующим колхозной фермой. А в 1931 году отец Ходжакули открыто выступил против коллективизации. Когда же его сильно за это ударили по рукам, он ушел в шайку басмачей. Тут его и настигла смерть.

Конечно, сын не ответчик за отца, поэтому народ и не лишал Ходжакули своего доверия, приняв его в ряды колхозников. Но, видно, сильна была в Ходжакули отцовская закваска.

Окончательно выяснилось это вскоре после описанной здесь встречи. Не прошло и несколько месяцев, как Ходжакули затеял такую скверную историю, что она едва не привела к убийству.

Сейчас же Ходжакули сидел насупившись и бросал на Алтын ревнивые взгляды. Видно было, что в нем все кипит и что он способен на отчаянную выходку. Заметив это, Аннакули поднялся и отошел, ибо не хотел создавать во время работы никаких осложнений.

Уже несколько раз Берды-ага и Айнабат заводили с сыном разговор о женитьбе. Аннакули отмалчивался. Но родители не унимались.

Как-то вечером после трудового дня Берды-ага снова повел об этом речь за ужином. Начал он обиняками, полушутливо, что, мол, не мешало бы их сыну «обзавестись глазами и умом».

Вы, может быть, не знаете этого поэтического выра-

жения. У нас, туркменов, «сделаться обладателем глаз и ума» означает женитьбу. В таких возвышенных словах принято отзывать у нас о подруге жизни.

Но на замечание отца Аннакули и ухом не повел и продолжал молча воздавать должное жирной каурме.

Тогда в атаку пошла мать. Она подняла голову над козьей шерстью, которую расчесывала большим гребнем, и сказала:

— Как отрадно было бы моим материнским глазам увидеть свадебный поезд сына...

Сын молчал.

— Какие конские состязания устроили бы мы по этому случаю! — подхватил Берды-ага, ладя на колене веревку, которую он вил уже второй год.

Аннакули вытер губы и поднял голову, собираясь заговорить. Берды-ага и Айнабат взволнованно взглянули на него, ожидая его решения.

— Хороший недоуздок для теленка у тебя получается, отец, — сказал Аннакули, давая этим понять, что поддерживать разговор о женитьбе он не намерен.

Тогда мать, которая не умела долго хитрить, сказала прямо:

— Сегодня почтенная Эджегыз, жена нашего председателя колхоза, встретившись со мной у тамдыра, дала мне понять, что они с удовольствием отдадут свою старшую дочку тебе в жены, Аннакули. Девушка она хорошая, и предложение это почетно. Я думаю, ты не поставишь свою мать в неловкое положение...

— А ты что — согласилась? — перебил ее взволнованный Аннакули. — Не спросив меня? Что же я, по-твоему, бессловесный, что ли? Или слепой? Нет, ты, как видно, думаешь, что я, как был, так и остался на веки вечные Растяпой.

Никогда еще родители не видели Аннакули таким разгневанным. Еле-еле успокоился он и сказал твердым голосом:

— Знайте, что я женюсь на той, кого люблю и кому сам придусь по сердцу. Не ожидал я, что в нашей семье почитают отжившие вредные обычаи. Может быть, вы

еще потребуете, чтобы я внес калым, да погоните меня к мулле?

Сердито хлопнув дверью, Аннакули вышел из дому, оседлал коня и поскакал в степь. Верховая езда скоро уgomонила его разгоряченную кровь. В сумерках, бросив поводя, шагом возвращался он в село. В глубокой задумчивости смотрел он на первые, еще не яркие звезды, проглянувшие кое-где на небосклоне. По дороге, погоняя ишаков, навьюченных саксаулом, шли и мирно беседовали двое колхозников. Откуда-то доносился стук топора.

На землю спадала прохлада. Еще алел закат. Смолкли птицы на деревьях, посаженных вдоль улиц. пышную листву уже тронула желтизна, и на землю, плавно кружась, осыпались осенние листья. Необъяснимая грусть охватила юношу. Он тосковал по Алтын. И вдруг радость стукнулась к нему в сердце. Он увидел девушку. Нагнувшись над колодцем, она вытягивала ведро. Он сразу узнал ее стройную, гибкую фигуру. А кругом ни души.

Он подъехал к колодцу. Алтын, увидев его, замерла. Аннакули спрыгнул с коня.

— Серна моя, Алтын, — сказал он, — дай мне твое ведро, я напою коня.

Алтын молча протянула ему ведро. Юноша взял его. Руки их встретились. Аннакули взглянул в глаза Алтын, и во взорах их промелькнула искра, зажигающая кровь. Аннакули не находил слов. Уж конь был напоен, а юноша все стоял у колодца, делая вид, что расчесывает коню гриву. Наконец он промолвил:

— Давно я хотел встретиться с тобой. Мне надо тебе сказать несколько слов.

Он замолчал. Девушка улыбнулась, заплетая растрепавшийся кончик косы.

— Говори, — сказала она и, снова склонившись над колодцем, начала вытягивать полное ведро воды.

Аннакули молчал.

— Говори же, я слушаю, — повторила Алтын.

Аннакули глубоко вздохнул и неожиданно для себя заговорил о сборе хлопка, о трудоднях, о необходимости учиться, повышать свои знания... Алтын поддержала этот разговор. Послушать — два почтенные члена прав-

ления обсуждают колхозные дела. Но глаза их говорили о другом. Когда речь зашла об ученье, Алтын горячо воскликнула:

— А мне вот мать не позволяет учиться.

— Неужто она такой отсталый человек, что до сих пор еще не поняла пользу ученья? — с недоумением спросил Аннакули.

— Она считает, что для девушек все это ни к чему. Ей хочется только одного — поскорее выдать меня замуж, как выдала она моих старших сестер.

— Теперь замуж не выдают, — сказал Аннакули. — Теперь девушки сами, по своей воле делают выбор. Ведь они во всем равны мужчине — учатся, вступают в комсомол, ведут общественную работу. — Аннакули помолчал и добавил, глядя прямо в лицо Алтын: — И выходят замуж за тех, кто им нравится.

— Да, я знаю, — сказала Алтын, отводя глаза.

— Может быть, и у тебя есть кто-нибудь, кто тебе нравится, Алтын?

— Может быть, — сказала Алтын, окончательно потупившись. На этом, к великой досаде Аннакули, разговор оборвался, так как к колодцу подошла пожилая колхозница, и Алтын, подняв ведра, пошла прочь.

«Удивительное дело! Уже ночь на дворе, а поминутно ходят за водой — в сердцах подумал Аннакули. — Поговорить не дадут!» Он взнуздал коня, вскочил в седло и догнал Алтын на перекрестке.

— До свидания, Алтын! Скоро увидимся! — крикнул он, сворачивая к своему дому.

А Алтын стояла с ведрами в руках и молча глядела ему вслед.

Вскоре по нашему селу разнеслась весть, что Аннакули строит новый дом. Говорили, что, кроме своих заработков, он пустил на это дело все сбережения, которые издавна делали его родители, готовя для него по старому обычаю калым.

Аннакули горячо взялся за дело, и к январю дом был готов. Небольшая прихожая делила дом на две час-

ти. Дверь прямо против входа вела в комнату самого Аннакули, дверь направо открывалась к комнате родителей, дверь налево — в кухню. Комнаты были просторные, веселые, с большими светлыми окнами. Когда дом был готов, Аннакули оштукатурил и побелил его снаружи и внутри.

Если кто-нибудь, влекомый любопытством, приходил взглянуть на этот дом или просто случайно проходил мимо, он непременно говорил:

— Какой красивый дом! Загляденье!

И когда Аннакули, обняв мать за плечи, ввел ее в новый дом, у всех присутствовавших при этой трогательной сцене лица невольно расцвели улыбками.

Из старого дома в новый перенесли только хорошие, добротные вещи. Все старье сдали в утиль, а на другой день Аннакули поехал в город и пригнал оттуда грузовик с новой обстановкой. Вместе с Берды-ага он внес в дом две кровати, стулья, книжный шкаф и большое зеркало, в котором даже такой высокий человек, как Берды-ага, был виден во весь рост. Особенно украсили комнаты два ковра, которые Аннакули тоже привез из города.

Когда в комнате Айнабат-эдже и Берды-ага разостлали ковер, Айнабат-эдже улыбнулась и сказала:

— Спасибо тебе, сынок. Как весело становится на сердце от такого ковра, словно устлали пол цветами.

Да, что говорить, славный это был дом, и само собой разумеется, что почти все колхозники перебывали в нем в первые же дни вселения семейства Берды-ага в его новое жилище. Гости хвалили и дом, и обстановку, но находили все же один изъян: в доме, по их мнению, нехватало молодой хозяйки.

Особенно пожилые женщины не упускали случая потолковать на эту тему, причем у каждой оказывалась на примете своя невеста, и они наперебой расхваливали их Айнабат-эдже. А молоденькие девушки, по-двое, по-трое заходившие посмотреть новый дом, не принимали, разумеется, участия в этих разговорах, хотя, быть может, и прислушивались к ним краешком уха, стоя в

сторонке и рассматривая новый ковер или книги в шкафу, Аннакули и тихонько перешептываясь о чем-то своем.

Как-то раз зашла поглядеть новый дом и Алтын.

Стояла холодная, ненастная погода. Резкий ветер обжигал лицо, заставлял слезиться глаза и гнал дым из труб книзу, в улицы. Снег, выпавший три дня назад, лежал, не таял. Колхозники доставали из сараев хворост и саксаул. От коров, когда их выгоняли из хлева, шел пар. Школьники бегом пробегали по улицам, низко нагнув на лоб и уши меховые шапки.

Алтын в ватнике, с пушистой зеленой косынкой на голове шла по улице и время от времени принималась дуть на свои окоченевшие пальцы. Щеки у нее от мороза рдели, как гранат. Поравнявшись с новым домом Бердыага, Алтын подумала:

«Все говорят, что они построили себе замечательный дом. Зайду, посмотрю и обогреюсь кстати».

Так думала Алтын. А впрочем, если она так и думала, то, значит, кривила душой. После встречи у колодца (а быть может, и еще раньше) мысль об Аннакули не покидала Алтын. Ее сердце неудержимо тянулось к нему, и оно-то и привело ее к его дому.

Алтын поднялась на крылечко и постучала, но, не услышав ответа, толкнула наружную дверь и очутилась в маленькой прихожей. Прямо перед ней была еще одна дверь, и Алтын отворила ее.

Аннакули в шелковом халате, накинутом поверх гимнастерки, сидел на ковре и пил чай. Когда дверь отворилась и на пороге появилась Алтын, юноше показалось, что солнце выглянуло из-за облаков. Он вскочил легко, словно птица, и уж стоял рядом с Алтын, держа ее за обе руки.

— Как хорошо, что ты зашла к нам. Алтын. Да ведь ты совсем продрогла! Входи же, обогрейся, — говорил он, вводя Алтын в комнату и усаживая на стул возле печки.

Девушка не произнесла ни слова. Все это произошло так внезапно, что она совсем растерялась. Она съехала на стуле и только поглядывала на Аннакули своими большими черными испуганными глазами. А

юноша под этим нежным и робким взглядом почувствовал вдруг, что земля уходит у него из-под ног. Он нагнулся к Алтын и снова взял ее за обе руки.

Тут Алтын немного опомнилась. Но едва она открыла рот, чтобы сказать, что зашла вовсе не к Аннакули, а к Айнабат-эдже, и то случайно, потому что проходила мимо, как дверь приотворилась, и сама Айнабат-эдже заглянула в комнату. Увидав Алтын и Аннакули, она сказала только:

— Ах, вот как хорошо! — и снова затворила дверь.

Алтын и Аннакули отпрянули друг от друга.

— Стыд какой! — горестно воскликнула Алтын. — Что подумает теперь Айнабат-эдже!

— Что она подумает? За это я могу тебе поручиться: она подумает, что лучшей невестки ей не найти.

— Послушать только, что ты говоришь, Аннакули! — воскликнула Алтын, и лицо ее зарделось ярче, чем от мороза.

— Прощай, я уйду.

— А если я не пущу тебя?

— Как же так?

— Очень просто: накину на голову халат¹⁾ и не пущу.

— Ты слишком торопишься, Аннакули, — сказала Алтын. Она старалась говорить строго, но губы ее улыбались. — Прощай, Аннакули, я уйду, — повторила она, но тут же, не удержавшись, окинула взглядом комнату. — Какая хорошая у тебя комната, и книг как много! А какое зеркало!

Она подошла к зеркалу поближе, осмотрела свое лицо, фигуру и убежденно добавила:

— Очень хорошее зеркало!

И после этого уже решительно направилась к выходу, а Аннакули, идя за ней следом, говорил:

— Да, комната неплохая, а вот все в один голос говорят, что есть в ней крупный недостаток...

Но Алтын уже выскользнула за дверь.

¹⁾ Халат накидывают на голову женщине в знак того, что она замужем. — Ред.

В прихожей она столкнулась с Айнабат-эдже, которой от радости не сиделось на месте; почтенная женщина все время то выходила из дома, то возвращалась обратно.

— О, да это ты, Алтын-джан! — с видом крайнего изумления воскликнула она, словно впервые увидав девушку. — Как твоё здоровье, голубка? Как здоровье твоих родителей? Хорошо, что ты надумала заглянуть к нам. Заходи в комнату, будем чай пить.

— Спасибо, милая Айнабат-эдже, — краснея от смущенья, пробормотала Алтын. — У нас все здоровы... Просили кланяться. Я никак не могу остаться пить чай. Я только на минутку заглянула, посмотреть ваш дом... — И Алтын поспешно отворила дверь, не взглянув на Аннакули, и чуть не бегом спустилась с крылечка.

Начиная с этого дня Алтын и Аннакули стали встречаться часто. Но Алтын больше не решалась приходить в дом к Аннакули, и влюбленные пользовались гостеприимством доброй Джерен-эдже, когда её мужа Куллы не бывало дома. Вначале они встречались у неё как бы ненароком, а когда Джерен смекнула в чём дело, чисто-сердечно поведали ей свою тайну.

Давно уже Аннакули и Алтын уговорились пожениться. Но Алтын просила держать их уговор втайне и почему-то все оттягивала срок свадьбы.

Наконец, она призналась своему возлюбленному в причинах такой медлительности и рассказала следующую историю.

Много лет назад, когда Алтын только родилась, приехала к ним в дом жена брата её отца. Увидев новорожденную, она сказала: «Вот кого я возьму в невестки» — и надела девочке на шею пеструю нитку. И мать Алтын — Огульдурсун дала клятву: «Клянусь, что отдам мою дочь в жены твоему сыну». С тех пор Алтын была обречена на брак со своим двоюродным братом, которого она даже в глаза не видела.

Выслушав этот рассказ, Аннакули рассмеялся. Но Алтын оставалась серьёзной и печальной.

— Если мы поступим против воли родителей, — сказала она, — они всю жизнь не захотят посмотреть нам

в лицо¹⁾), и мы будем несчастны. Мы сможем пожениться только с разрешения моих и твоих родителей. Пусть они договорятся.

Аннакули рассердился. Но, увидев, что Алтын плачет, тут же смягчился, обнял ее и сказал:

— Алтын, кровь моего сердца, выслушай меня. Твои старики добром тебя мне не отдадут. А если отдадут, то потребуют калым. А это противно моим убеждениям, я на это ни за что не пойду.

— Ты все-таки попробуй прислать сватов. О, Аннакули, мой милый! — вскричала девушка. — Может быть, все как-нибудь уладится.

И снова рассердился юноша и снова смягчился. Однако, хотя его сердце и было полно любви и нежности он не мог изменить своим убеждениям.

— Нет, серна моя Алтын, мы сами договорились с тобой и никаким другим людям не позволим решать нашу судьбу. Ведь мы свободные советские люди, не так ли? Как же я, комсомолец, могу вносить за тебя калым, покупать тебя, словно ты, моя Алтын-джан, курица или овца?! Мне больно слышать, что ты так говоришь. Верно, ты сама не очень-то любишь меня.

На глазах у юноши тоже блеснули слезы. Увидев это, Алтын бросилась на шею Аннакули и вскричала:

— Я люблю тебя! Я скорее дам изрубить себя на куски, чем выйду за другого! Увези меня, куда хочешь, но только поскорее! Мать и отец глаз с меня не спускают последнее время. А тут еще этот Ходжакули бродит всюду за мною черной тенью, и я боюсь, что он нас выследит.

Обрадованный Аннакули прижал свою возлюбленную к сердцу и сказал:

— Ничего не бойся, моя Алтын! Мы не будем откладывать нашу свадьбу больше ни на один день. Мы повенчаемся не здесь, а в городском загсе, а потом предстанем перед твоими родителями, как муж и жена. И всякие проклятья замрут на их устах, когда они увидят нас — счастливых. Если же они будут упрямиться, партийный комитет и правление колхоза сумеют помирить молодых

1) Т. е. проклянут, откажутся. — Ред.

и стариков. Итак, слушай меня внимательно, Алтын-джан. Нынче день короток. На вечерней заре мы встретимся в доме у доброй нашей Джерен, которая не откажется нам помочь, и пойдем в город.

Порешив так, они расстались.

Ходжакули, действительно, следил за ними. Зная о дружбе Алтын и Джерен-эдже, он даже сделал попытку склонить Джерен на свою сторону, посулив ей дорогие подарки, если она замолвит за него словечко перед Алтын, но Джерен отказалась наотрез. Ходжакули обозлился и порешил отомстить этой почтенной женщине.

Сумрачный зимний день клонился к вечеру. В небе висели тяжелые, мрачные тучи, и такой же мрак клубился в душе Ходжакули.

Он подошел к дому Хан-ага, отца Алтын, и заглянул в открытую форточку. Комната была пуста. Ходжакули воровато оглянулся, быстро сунул в форточку запечатанный конверт и зашагал прочь.

Вскоре в комнату вошла жена Хан-ага Огульдурсун и принялась подметать пол. Заметив валявшийся на полу конверт, она подняла его, повертела в руках и положила на стол.

— Верно, Мурат потерял, — пробормотала она, продолжая мести пол. — Этот мальчишка вечно все разбрасывает. Тут швырнет тетрадку, там книжку...

С лопатой на плече вернулся домой Хан-ага. Оставив лопату во дворе, он вошел в дом.

— Где дочка? — хмурясь, спросил Хан-ага

Это был угрюмый, неприветливый старик. Единственные люди, которым он беспрекословно доверял, были муллы и ишаны. Потому-то большая часть заработанных им денег попадала к ним в карманы.

— Где наша дочка, ты спрашиваешь? — вскричала Огульдурсун.

— Ну, ну, — проворчал старик уже раскаиваясь, что задал этот вопрос и тем открыл шлюзы красноречия своей жены.

Огульдурсун была безмерно болтлива... Она могла молоть языком круглые сутки безумолку. Язык у нее отдыхал только во время сна и то не всегда.

— Кто скажет, что в этой семье есть дочка? — зата- раторила Огульдурсун. — Никто этого не скажет. С утра она закатывается на колхозные работы, после полудня бежит на учебу. Мне от нее польза, как от бесплодной овцы. Девушке уже замуж пора, а она только и делает, что бегаёт, распустив косы на груди¹⁾ да беспрерывно учится. Люди с ума посходили на этой учебе, как будто на учебе им пышки раздают. Все учатся. Все говорят: мы хотим расти. Да что вы деревья, что ли, чтоб расти?

Неизвестно, сколько бы еще говорила Огульдурсун, если бы в это время из соседней комнаты не вышла Алтын. В руках у нее была сумка. Девушка направилась к двери.

— Вот она, — сказала мать. — Куда ты, дитя мое?

— Мне пора на занятия, не задерживайте меня, — сказала Алтын.

Она волновалась, зная, что Аннакули уже ждет ее в доме Джерен.

Слово «занятия» подействовали на Огульдурсун, как острая шпора на норовистого коня.

— Никуда ты не пойдешь, — крикнула она и, повернув ключ в дверях, спустила его в карман.

Огульдурсун готовилась произнести по этому поводу очередную речь, как из другой комнаты на ее крик выглянул братишка Алтын, Мурат. Огульдурсун вспомнила про письмо.

— Это ты потерял? Вечно все разбросаешь, — накинулась она на мальчика.

Мурат взял конверт и прочел:

— «Почтенному Хан-ага в собственные руки».

— Оказывается, это мне, — догадался Хан-ага. — Ну-ка, сынок, вскрой и прочти. Должно быть, Алтын, это пишет брат твоей матери Аман-ага, отец твоего жениха. Верно, предупреждает о том, что на-днях привезет калым.

¹⁾ По туркменскому обычаю, взрослые девушки носят косы на груди, у замужних женщин косы висят вдоль спины. —Ред.

Старик сразу пришел в хорошее расположение духа. Он думал о том, что получит солидный выкуп за дочку и целиком передаст его муллам, а это сразу сделает его одним из самых почетных прихожан мечети.

Алтын рассеянно кивнула головой. Она представляла себе, как волнуется Аннакули, дожидаясь ее, и мучительно соображала, как же ей выбраться из дому.

Мальчик вскрыл конверт и принялся читать:

«Эй, Хан-ага! Только тебе за святость твоей жизни и потому, что ты мне нравишься, открою я важную тайну. Слушай, держи-ка покрепче свою беспутную дочку Алтын. Иначе вся твоя семья будет опозорена. Знай, что она собралась бежать вместе с развратным Аннакули, сыном Берды-ага. Вот тайна, которую я тебе раскрываю. Односельчанин».

Все словно окаменели. Алтын вскрикнула и опустилась на пол.

— О, я несчастная! — простонала она.

Хан-ага сорвал со стены плеть.

Огульдурсун завопила:

— Бежать? Бежать? Вы слышите: бежать! О, позор! О, край смерти! Подумайте: бежать!

— Перестань кричать, и без тебя тошно! — процедил сквозь зубы Хан-ага.

С плетью в руке он подошел к дочери.

— Отец! — вскричала Алтын, вскочив на ноги.

Глаза ее сверкали, голова была смело закинута назад, лицо пылало. Мурат подбежал к сестре, пытаясь прикрыть ее своим маленьким тельцем.

— Ну, ну... — смущенно проворчал старик.

Он бросил плеть и злобно сказал:

— Сейчас пошлю письмо Аману, чтобы сегодня же он забрал Алтын в дом к жениху.

Услышав это, Алтын тут же поклялась себе, что скорее умрет, но не изменит слову, которое она дала своему Аннакули.

Хан-ага вышел во двор, подозвал своего младшего брата Бяшима и сказал ему:

— Седлай коня и скачи в Тезе-Ел к нашему брату Аману. Не слезая с коня, скажи ему: «Хан-ага сказал,

чтобы вы тотчас ехали к нему, да захватите калым». Ступай!

Огульдурсун, не вытерпев, выбежала во двор за мужем следом.

— Слушай, Бяшим! — крикнула она.

— Нет, не слушай, — сказал Хан-ага, — иначе ты до завтра не уедешь. Скачи!

Как только Алтын осталась наедине с Муратом, она быстро подняла письмо, брошенное на пол, и сказала:

— Дорогой братик, беги к Джерен! Там сидит Аннакули. Отдай ему это письмо и скажи, что нынче ночью меня хотят обвенчать с сыном дяди Амана, и скажи, чтобы он меня спас.

Мурат бросился к дверям.

Теперь мы должны на время перенестись в другой конец аула, где протянулись ряды колхозных амбаров. Ибо таков был путь Ходжакули. Его злобные планы отнюдь не ограничивались подметным письмом. Нет, у него был припасен еще один удар, которым он рассчитывал окончательно сокрушить Аннакули.

Сторожем колхозных амбаров был Куллы, молодой муж Джерен.

В этот ненастный вечер, так же как и всегда, он бдительно охранял их, обходя один амбар за другим с заряженным ружьем в руках. Куллы был человек серьезный, молчаливый и отличался правдивостью и прямоотой. Пылкий и открытый нрав всегда заставлял его прямо говорить человеку в лицо все, что он о нем думает.

Вечер был ветряный, непогожий. Ни единой звезды не сверкало в небе, задернутом низкими косматыми тучами.

Когда Куллы дошел до восточного края складов, из темноты вышел человек. У Куллы были соколиные глаза. Он сказал:

— Что ты так поздно делаешь здесь, Ходжакули?

Ходжакули приблизился.

— Бог в помощь, Куллы, — сказал он.

— Будь здоров, Ходжакули. Какая забота загнала тебя в такую непогоду на край села?

— Какая забота? Да никакая. Просто люблю погу-

лять... Бродишь этак и видишь временами презанятые вещи... Вот и сейчас.

Ходжакули замолчал и значительно посмотрел на Куллы.

— Что сейчас? — спросил Куллы улынувшись.

Прислонившись к столбу, он закурил.

— Да уж не знаю, право, стоит ли тебе рассказывать, — сказал Ходжакули, стараясь изобразить смущение. — Ты ведь человек вспыльчивый... Как бы еще не наделал беды...

— А в чем дело? — спросил Куллы насторожившись.

— Может быть, ты видел, кто-нибудь лезет в склад?

— Лезет! — сказал Ходжакули. — Только не в склад, а твой дом, чтобы похитить у тебя самое дорогое...

И приблизив лицо к изумленному Куллы, он прошептал:

— Твою жену, прекрасную Джерен-эдже!

Куллы был так потрясен, что сначала не мог вымолвить ни слова.

— Ну вот, — сказал Ходжакули, прикидываясь огорченным. — Ты расстроился. Жалею я, что тебе сказал. Неведенье — мать покоя.

Неожиданно Куллы расхохотался.

— Моя Джерен? — еле выговорил он сквозь смех. — Да она спит мирным сном. Ты, верно, заглянул не в то окно, перепутал дома...

Потом, перестав смеяться, грозно посмотрел на Ходжакули и сказал:

— Вот ты какой, оказывается! Шляешься по улицам, заглядываешь в чужие окна!

«Экий простофиля! — с досадой подумал Ходжакули. — Никак его не раззадоришь. Ничего, сейчас я тебя пройму».

И он сказал:

— Так ты мне не веришь? А ведь я тебе, как другу... Да ведь это уже и не тайна. Все село знает, что твоя жена обманывает тебя с бригадиром Аннакули!

— Аннакули?.. — пробормотал пораженный Куллы. Ему вспомнилось вдруг, что Джерен и вправду не раз будто невзначай упоминала о посещениях Аннакули.

— Да. Аннакули! Слушай, я скажу тебе все. Не люблю, когда меня называют лжецом. Да и тебя, обманутого, жалко. Слушай, друг Куллы. Каждый раз, как ты уходишь на ночное дежурство, к тебе в дом прокрадывается этот шакал Аннакули. Он живет с твоей коварной женой. Ты сам можешь хоть сейчас в этом убедиться. Он теперь там. Я видел собственными глазами. Сидят рядом, пьют чай и нежничают... Пстой! Куда? Конечно, такому негодяю, как Аннакули, одна цена, а все-таки Куллы оставь ружье. Не натворил бы ты беды!..

Но Куллы не слушал. Кровь ударила ему в голову. Он вспыхнул и загорелся мгновенно, словно облитый керосином кусок сухого дерева, брошенный в печь. Не помня себя от ярости, он побежал домой, крепко сжимая в руке ружье.

У нас в селе спать ложатся рано. К одиннадцати часам гаснет свет почти во всех домах. И освещенное окно в доме Джерен еще издали ярко выделялось в ночном мраке. Джерен не спала, и Аннакули был с ней — они ждали Алтын, которая почему-то все не приходила.

Джерен, хотя и сама недоумевала и беспокоилась, почему так задержалась Алтын, но старалась успокоить объятую тревогой Аннакули:

— Ну мало ли, почему Алтын могла запоздать. Может быть, у них гости... Может быть...

Она замолчала, не зная, что еще прибавить.

— Спасибо тебе, добрая Джерен, за твое участие и ласку, — сказал Аннакули. — Только чует мое сердце — какая-то беда приключилась. Не могла Алтын изменить своему слову...

— Нет, нет! — горячо сказала Джерен. — Алтын любит тебя крепко, так же, как мы с моим Куллы любим друг друга. И нет на свете такой силы, которая могла бы отвратить ее от тебя.

— Вот видишь, Джерен-эдже, ты сама это признаешь. Значит, стряслась беда. Послушай, ты так добра к нам, пойдй в дом к Хан-ага, разведай, что такое там приключилось.

И Аннакули с мольбой посмотрел на Джерен.

— Трудно это сделать, — задумчиво сказала Дже-

рен. — Что скажу я подозрительному Хан-ага и сварливой Огульдурсун? И не придумать даже, что могло бы привести меня к ним в дом в столь поздний час.

Но, взглянув на искаженное тревогой лицо юноши, Джерен встала.

— Ладно, — сказала она, — пойду! Авось по дороге надумаю что-нибудь. Скажу, что зашла за зубными каплями.

Обрадованный Аннакули схватил руку доброй женщины и благодарно пожал ее.

В ту же минуту с шумом распахнулась дверь, и в комнату ворвался Куллы. Волосы его были растрепаны, шапку он потерял по дороге. Перекошенное бешенством лицо его было неузнаваемо.

Увидев стоящих рядом Джерен и Аннакули, он вскинул ружье к плечу.

— А, попались! — заорал он, не помня тебя от ярости. — Смерть обоим! И тебе, проклятая потаскушка, и тебе, грязный распутник!

— Куллы, родной мой! Что ты говоришь, опомнись! — в ужасе крикнула Джерен.

— Друг Куллы, в своем ли ты уме! — воскликнул потрясенный Аннакули.

Но Куллы не слушал. Видя, что он собирается стрелять, Аннакули подскочил к нему и ударил снизу по ружью. Прогремел выстрел. Джерен вскрикнула. Пуля, слегка оцарапав ее плечо, ударила в потолок и осыпала всех троих белыми брызгами штукатурки. Аннакули вырвал ружье из рук Куллы.

Выстрел как будто немного отрезвил Куллы. Искра сознания мелькнула в его глазах. Он прислушался к словам Аннакули. Тот говорил:

— Как не стыдно тебе такими грязными подозрениями марать свою невинную жену и меня! Ведь я люблю Алтын, дочь Хан-ага, она моя тайная невеста. С разрешения доброй Джерен-эдже мы с Алтын условились сегодня встретиться в твоём доме, чтобы уехать отсюда в город и там пожениться тайком от Хан-ага. Он, видишь ли, хочет насильно обвенчать Алтын со своим племянником.

Куллы перевел взгляд на жену.

— Ах, Куллы! — с тоской воскликнула Джерен. —

Душа у меня горит от такой обиды. Скоро же ты забыл, как мы с тобой прятались от моей матери, которая хотела продать меня за калым нелюбимому человеку! Твои соколиные глаза остались такими же зоркими, но сердце твое ослепло...

Громкий выстрел из старой берданки Куллы был услышан во многих домах нашего мирного села. Вскоре комната Куллы наполнилась встревоженными людьми. Прибежал и председатель колхоза Нургельды, а вскоре за ним и председатель сельсовета Керим-ага в шинели, наспех накинута на одно плечо. Все спрашивали друг друга, что случилось, но никто ничего не мог объяснить.

Увидев ружье в руках Аннакули и кровь на платье Джерен, парторг Аманмурат побагровел от гнева.

— Объяснись! — сказал он.

Но Аннакули отвечал спокойно:

— Спросите Куллы, может быть, он лучше сумеет объяснить вам, что тут произошло.

И Куллы не стал отпираться. Он рассказал все как есть, без утайки. Не захотел сказать только одно: имя гнусного сплетника. Очень уж стыдно было ему признаться, что он поверил наговорам такого отпетого склочника, как Ходжакули.

Не успел еще Куллы закончить свой рассказ, как худенький мальчик в разодранной одежде вбежал в комнату и протискался сквозь толпу к Аннакули.

— Мурат, что случилось? — вскричал Аннакули, узнав брата Алтын.

Громкий голос Аннакули привлек внимание окружающих. Все невольно глянули в его сторону.

Мурат быстро проговорил:

— Аннакули, спеши на помощь к Алтын. Ее сейчас увозят по большой северной дороге в Тезе-Ел выдавать замуж за сына дяди Амана. Она меня давно к тебе послала, да отец перехватил меня, запер... еле-еле удалось из дома выбраться.

— Я чувствовал, что пришла беда! — вскричал Аннакули и опрометью бросился к выходу.

Но председатель сельсовета остановил его.

— Стой, Аннакули, — сказал он. — Когда готовится преступление, это уже дело власти пресечь его.

Сказав эти разумные слова, Керим-ага вызвал из толпы милиционера, а на подмогу ему отрядил еще трех человек, лучших наездников в ауле.

— Седлайте коней и скачите в погоню, — приказал Керим-ага. — Преступников арестуйте, а дочь Хан-ага доставьте сюда.

Четыре человека быстро вышли из комнаты и вскоре по селу прокатился дробный стук копыт.

— Вот, чуть не позабыл, — сказал вдруг юный Мурат. — Мы нашли письмо у нас на полу. Кто-то его подбросил. Вот погляди, Аннакули.

Аннакули, Керим-ага и еще кое-кто склонились над подметным письмом.

— Дорого дал бы я, чтоб узнать, чья рука написала эти ядовитые строки! — вскричал с возмущением Аннакули. Керим-ага вызвал из толпы учительницу Бибиджамал.

— Не поможешь ли ты нам, Бибиджамал? — сказал он. — Ведь ты обучаешь грамоте наших людей и через твои руки проходят все их писания.

Бибиджамал внимательно вгляделась в письмо.

— Что-то знакомое чудится мне в этом почерке... — задумчиво проговорила она. — Особенно в буквах «д» и «т» и «а»... А все же...

Учительница с сомнением покачала головой.

— Нет, — честно призналась она, — не берусь сказать, кто это написал. Много тетрадей читаю я каждый день, и все они спутались сейчас у меня в голове. Вот разве, если сличить...

— Что ж ты стоишь, Бибиджамал? Быстрее беги, тащи сюда свои тетради! — воскликнул Керим-ага.

Вскоре Бибиджамал вернулась с большой кипой тетрадей и принялась листать их, тщательно сравнивая исписанные страницы с подметным письмом. А надо сказать, в ту пору в нашем селе много народа, и молодого и старого, училось в вечерней школе для взрослых.

Наконец, Бибиджамал перестала листать тетрадки.

— Вот! — сказала она с уверенностью, внимательно вглядываясь в какую-то страничку.

Керим-ага, и Аннакули, и Джерен, и все, кто только смог протискаться к столу, жадно склонились над раскрытой тетрадью, рядом с которой лежало подметное письмо. И вправду, сомнения быть не могло! Почерк один и тот же.

Керим-ага перевернул тетрадь и медленно прочел на обложке имя ее владельца:

— Ходжакули...

Мы все, кто здесь был, стали оглядываться, ища Ходжакули. Но, разумеется, его среди нас не оказалось.

Более всех был потрясен Куллы.

— И здесь этот шакал постарался, — пробормотал он.

— Ах так? — подхватил Керим-ага. — Значит, это Ходжакули влил тебе в ухо ядовитую клевету, которая чуть не толкнула тебя на преступление?

Куллы не отвечал. Но молчание его было красноречивее слов.

В толпе раздались негодующие голоса. Многие требовали немедленной расправы над этим зловредным человеком.

— Молчать! — крикнул Керим-ага. — Никого нельзя обвинять в его отсутствии. Сейчас мы приведем сюда Ходжакули и выслушаем его объяснения.

Одобрительный ропот покрыл эти слова нашего гневного и горячего, но справедливого председателя. Трое колхозников, не медля ни минуты, отправились за Ходжакули.

Удивительная эта ночь была богата событиями, грустными и радостными. Но радость взяла верх, ибо такова наша советская страна, и мудрый садовник товарищ Сталин беспощадно выпалывает с полей жизни зло и пышно возвращает на них добро.

Не успели мы притти в себя от всего пережитого, как под окнами раздался конский топот и вслед за тем в комнату вошла Алтын. Одежда ее была запылена и порвана, на нежных руках синели следы от веревок, на щеке большая царапина. Видно, девушка нелегко далась в руки своим похитителям.

Аннакули бросился к ней. Но Керим-ага остановил его повелительным жестом. И в эту минуту ввели в комнату Ходжакули.

Женщины окружили Алтын и стали приводить в порядок ее одежду.

При виде Ходжакули люди пришли в ярость. Они сдерживали себя только из уважения к своему председателю Кериму, ибо в его лице уважали нашу социалистическую законность, справедливую, человечную и умную.

А старик Керим, всегда такой запальчивый, сейчас держался с необыкновенным хладнокровием.

— Тебя вызвал сюда народ, Ходжакули, — сурово сказал Керим-ага. — Ты должен дать народу объяснения.

От этих простых, спокойных слов с наглеца сразу слетела его заносчивость. Он боязливо огляделся по сторонам.

— Куллы, — продолжал Керим-ага, — ты подтверждаешь, что этот человек отравил твое сердце гнусной клеветой, стремясь опозорить твою верную жену и ни в чем не повинного Аннакули?

— Да, это так, — подтвердил Куллы, с ненавистью глядя на Ходжакули.

Керим-ага перевел глаза на Ходжакули.

— Я ошибся, — глухо проговорил тот, не подымая глаз.

— Однако из-за твоей «ошибки», — продолжал Керим-ага, не изменяя спокойствию, — могла пролиться невинная кровь, ибо ты подстрекал обманутого тобой Куллы к отмщению и кровавой расправе.

Ропот возмущения пошел по толпе.

Керим-ага поднял руку, призывая нас к спокойствию. Внезапно он протянул Ходжакули подметное письмо и отрывисто спросил:

— А это тоже твоя работа?

Ходжакули в растерянности отступил. Видимо, он не ожидал, что его подлое письмо попадет в наши руки. Все же, собравшись с духом, он залепетал:

— Это не я... не моя рука... и вы не можете доказать...

Тогда Керим показал ему тетрадь:

— А это твоя рука?

Ходжакули понял, что уличен. Надо сказать, что он был совсем недурен собой, но сейчас показался всем гадох, так исказила злоба и страх правильные черты его лица. Он пробормотал:

— Это не преступление, это только письмо. Каждый волен писать, что хочет, и каждый волен верить или не верить.

Керим-ага шагнул вперед. Взгляд его был страшен. Ходжакули невольно попятился, но Керим-ага сдержал себя.

— Ты ошибаешься, — сказал он негромко, но каждое слово его явственно разносилось среди напряженной тишины, воцарившейся в этой большой комнате, заполненной народом. — Клевета — преступление. Но кроме писанного закона, в нашем народе есть еще закон советской чести. Ты преступил оба. Ты подменил правду ложью, дружбу — враждой, мир — распрями. Ты не наш. Уходи. Долго мы прощали тебе, снисходя к твоим клятвам исправиться. Довольно!..

Тут присутствующие не могли сдержать себя. Раздались возгласы:

— Довольно! Больше не потерпим его среди нас!

— Вон этого сатану!

— Не хотим его в нашем колхозе!

И даже родной дядя Ходжакули сказал с отвращением:

— Правду говорит пословица: «Волчонка никогда не приручишь!»

— Слышишь голос народа? — сказал Керим-ага — Ступай. Отвезите его в район.

Ходжакули обвел всех мутным, яростным взглядом, повернулся и вышел в сопровождении нескольких колхозников.

Керим-ага опустился на стул и, отирая платком свое большое лицо, молвил:

— А теперь перейдем к другим делам, приятным и важным. Алтын, подойди ко мне.

Алтын приблизилась.

— Правда ли это, девушка, — спросил Керим-ага, — что тебя хотели насильно выдать за нелюбимого?

— Правда, — ответила Алтын.

— Ну, а тебе...

— А мне, — смело перебила его Алтын, — мне мил другой.

— Кто же?

Алтын оглянулась, ища глазами Аннакули. Он вышел из толпы и стал рядом с Алтын.

Керим-ага поднялся со стула.

— Дети, — сказал он и соединил руки Алтын и Аннакули, — женитесь и век любите друг друга. А свадьбу вам сыграем мы всем колхозом.

Это была радостная минута. Она вознаградила тяжесть предыдущих часов. Все окружили счастливых жениха и невесту и весело от души поздравляли их.

На свадьбе я не был, потому что вскоре мне пришлось уехать в командировку. Побывал я во многих местах, а, возвращаясь, заехал в наш районный центр. Здесь-то я и встретил Аннакули и Алтын.

Ночь простерла над городом звездное небо. Благоухали цветы, посаженные вдоль тротуаров. Жуки жужжали вокруг ярких фонарей у входа в кинотеатр. Там висел плакат «Слет передовиков земледелия». Около кинотеатра я и увидел моих земляков.

Алтын и Аннакули шли, держась за руки, точь в точь как в ту памятную ночь, когда стояли перед старым Керимом.

Любо было сейчас поглядеть на них. Оба во всем белом, красивые, стройные, легкие, как две белые птицы.

Я поздоровался с ними.

— Большой почет вашей красивой и культурной жизни! — сказал я и разделил между ними букет роз, который купил на углу в киоске и хотел отвезти домой.

Мне было радостно в тот вечер: я видел счастливых.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Е. Сурков. Даровитый бытописатель турк- менского села</i>	3
<i>М е р е д. Перевод Т. Озерской</i>	15
<i>Р а с с к а з старухи. Перевод П. Карпова</i>	34
<i>С с о р а. Перевод Озерской</i>	51
<i>Х а н-л е ж е б о к а. Перевод Озерской . . .</i>	62
<i>К у з н е ц - с в я т о ш а. Перевод Озерской</i>	77
<i>С ч а с т л и в ы е. Повесть. Перевод Озерской</i>	105

Редактор *Е. Сурков*

Художник *И. Муравьев*

Художественный редактор *М. Николаева*

Технический редактор *Н. Зубова*

✱

Сдано в набор 23/XII 52 г., подписано к печати
20/VIII — 53 г. ТГИЗ № 2411 Заказ № 2038.

✱

Тираж 20 000. Бумага $84 \times 108^{1/2}$, = 2,3 б. л.,
7,68 п. л. 7,0 учетно. изд. листа. Цена 4 р. 10 к.

Ашхабад. Полиграфкомбинат, Сивинская, 20.

4 P. 10 K.

ТУРКМЕНГОСИМЛАТ

БАШЛАҒЫ

Туркмен дини